

Редколлегия:

С.Ю. Баранов, канд. филол. наук, доцент

Т.Г. Овсянникова, канд. пед. наук, доцент

Е.Н. Шаброва, доктор филол. наук, профессор

Рецензент — канд. филол. наук Л.В. Егорова

С 48

Словесность и культура как образ национальной ментальности. Юбилейный сборник трудов преподавателей филологического факультета ВГПУ. — Вологда: издательство ВГПУ, 2010. — 368 с.

ISBN 978-5-87822-414-7

ББК 81+83

В сборнике представлены работы преподавателей филологического факультета ВГПУ, для которых 2010 год является юбилейным. Все они внесли заметный вклад в представляемые ими отрасли науки. Публикуемые труды являются результатом их многолетних исследований и позволяют отчетливо представить характер творческих устремлений авторов.

ЯЗЫК ПИСАТЕЛЯ. ПИСАТЕЛИ О ЯЗЫКЕ

Предлагаемое исследование состоит из двух хронологических разделов.

Первый включает очерки, посвященные языку текстов XV—XVIII вв., а также ломоносовской оценке литературно-языковой ситуации начального этапа национального периода в истории русского языка. С Ломоносова начинается осознанное, критическое восприятие живой речи и сознательное отношение к языковым процессам эпохи.

Второй раздел содержит несколько работ, посвященных писательской рефлексии на языковые новации эпохи, оценке литературной практики и практики публичного общения XIX в., анализу творческой лаборатории ряда писателей этого времени.

В качестве заключения рассмотрены концептуально-смысловые и языковые особенности двух национальных гимнов России XX в. в сравнении с предшествующими аналогами.

Древнерусская словесность

«Самородные» стихи XVII в.

Как известно, одна из примет культуры XVII в. — оживление литературной деятельности провинции. Среди классических произведений эпохи, считающихся ныне хрестоматийными, находим тексты муромские («Житие Ульянии Осоргиной», «Повесть о Марфе и Марии»), донские (азовский цикл), тверские («Повесть о тверском Отроче монастыре»), сибирские («Есиповская летопись») и др. Провинция активно участвует в создании демократической сатиры: не в Москве возникла «Калязинская челобитная», не на Москву, а на Сольвычегодск указывают списки «Службы кабаку». Это касается и фольклорного раешного стиха: первый

из попавших в рукописную книгу раешный памятник «Послание дворянина к дворянину» (1608—1609) Ивана Фуникова — памятник тульский.

Для истории провинциальной поэзии второй половины XVII в. интересны обнаруженные нами в Государственном архиве Вологодской области скорописные «самородные стихи» (ф. 1260). Приводим этот текст в транскрипции, принятой в «Трудах Отдела древнерусской литературы», в скобках помещаем зачеркнутые автором строки и слова.

Приказшик Семен Горяинов, плутаешь,
У отписок у печатей сшивок не очищаешь,
Которые отписки к преосвященному архиепископу присылаеш,
И у тех печатей усы оставляешь.
(Знатное дело, что, ты дурак, дела не знаешь)
И подьячево Данилка, глупца, не научаешь,
Знатное дело, что ты сам, дурак, не знаешь,
Как к господину с честию подобною отписки посылают
И у печатей у сшивок усы очищают.
Да и преж сего тебе о том говорили,
И вы, дураки и глупцы, все позабыли.
А буде станете впредь так присылать (чинити),
Станут вас гораздо смиратьи,
На болшую чепь сажати,
Да после того плетми хлестати,
(И твои приказшичьи усы драти)
И у тебя, приказшика, у самово усы драти,
А у подьячево Данилка уса нет, ино бороду рвати.
А ся вам память на мирских сходках прочитати
И свою глупость и дурачество пред всеми обличати.

Это, видимо, черновой автограф некоего вологодского стихотворца. Другим и, как кажется, более поздним почерком в верхней части листа в скобках проставлена дата (1689 г.), а на обороте написано: «Самородные стихи». Эта ироническая надпись — своего рода литературно-критический отзыв и, надо сказать, удачный.

Стихи действительно «самородны»: по версификации они ориентированы на традицию раешника, а по качеству рифм, сплошь глагольных, суффиксально-флексивных и оттого монотонных, — на силлабику не в лучших ее образцах (быть может, на «относительный силлабизм» приказной школы, который не исчез и в послениконовское время, хотя оказался на периферии литературы).

Стихотворение входит в круг текстов демократической сатиры. Судя по содержанию, автором является один из служащих канцелярии вологодского архиепископа, на долю которого выпала обязанность регистрировать поступающую корреспонденцию и готовить по ней сообщения для преосвященного. Очень живо воспроизводятся детали приказного быта. Остроумно обыгрываются два значения слова «ус»: «ус» на лице приказчика и «ус» — конец нити, выступающей из-под печати на деловой бумаге.

Предметом сатирического осуждения и осмеяния стала небрежность в оформлении отписок Семена Горяинова и его помощника, молодого подьячего Данилки. Первый принадлежал к известному приказному роду. Горяиновы служили при архиерейском дворе, вели канцелярию вологодского и белозерского архиепископа, исполняли должности на его московском подворье, направлялись с различными поручениями в архиерейские вотчины. С.Б. Веселовский зафиксировал одиннадцать дьяков и подьячих Горяиновых, которые служили в московских приказах и в провинции (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975. С. 128—129). Иван Савинов Горяинов в 1673—1674 гг. был дьяком на Вологде. У него был брат Семен (по росписному списку 1638 г. он вместе с Иваном владел в Москве двором), но вряд ли его можно отождествить с персонажем стихотворения.

Архивные богатства Вологодского края далеко не исчерпаны исследователями. В том же фонде свитков областного архива (Ф. 1260. Оп. 35. № 229) нами обнаружен заговор XVII в.: «Во имя отца и сына и святого духа. Облекаясь темными оболочками, подпоясываясь светлыми зорями, потыкиваюсь частыми звездами, на главе красное солнце, против сердца младь светель месяц. Как не думаеть крещено<й> человек на божие милосердие, тако бы не подумалъ отецъ игумен им<я>р<е>къ на меня, раба бо-

жия им<я>р<е>к, и како не подумаеть крепченой человекъ на божие милосердие и на царское слово, а у меня, раб<а> божия им<я>р<е>к, божие, милосердие вьнутрь! и вь сердце, а царское слово за цжекою Да буди моя сия сло<ве>са жадоющая (?), впредь от в., аминь».

Текст обнаружен среди деловых бумаг, связанных с деятельностью архиерейского двора и Спасо-Прилуцкого монастыря. Этот факт, а также упоминание «отца игумена» позволяют предположить, что запись заговора сделана чернецом одной из вологодских обителей. Заговоры, безусловно, осуждавшиеся церковью как «чернокнижие», могли сохраняться в составе судебных дел по духовным преступлениям.

Живая речь в севернорусских житиях XV—XVII вв.

Документной основой исследования послужили письменные источники, изданные в серии «Памятники русской агиографической литературы» (изд-во СПбГУ, 2000—2008; издано 9 сборников). Здесь есть впервые изданные жития, а многие из представленных редакций известных житий также изданы впервые.

Структура старорусских житий подчинялась определенному канону: 1) вступление; 2) рассказ о жизни святого; 3) чудеса, творимые святым, а после его смерти творимые именем святого; 4) заключение. Отступления от канона касаются, в частности, количества и содержания чудес.

Стремление к документализму и достоверности изложения — одна из примечательных черт этих житий. Как правило, они писались вскоре после смерти праведника, поэтому авторы ссылаются на современников, упоминают реальные исторические события и реальных деятелей эпохи. Особенно это характерно для рассказа о жизни святого. В чудесах же, несмотря на «чудесное» содержание таких фрагментов, речь идет о житейском: о различных бытовых ситуациях, о телесных недугах и чудесных исцелениях. Здесь мы встречаем и бытовую лексику, и термины народной медицины.

Наиболее древнее и в какой-то мере образцовое из текстов этого жанра — Житие Кирилла Белозерского (ЖКБ, далее указы-

ваются листы рукописи по изданию). Кирилл Белозерский (около 1337—1427) — основатель и игумен Кирилло-Белозерского монастыря, духовный писатель, книжник [1]. Его житие написал около 1462 г. по повелению великого князя Василия Васильевича и по благословению митрополита Феодосия самый плодovitый писатель XV в. Пахомий Логофет, или Пахомий Серб (серб по рождению и по прозванию [2]), специально приезжавший в Кирилло-Белозерский монастырь для сбора данных о праведнике и похваливший себя за эту поездку прямо в тексте Жития: «великъ троуд подымъ. далечеишаго ради растоянья местомъ» (л. 4 об.).

Житие создано на основании записанных Пахомием рассказов современников — «самовидцев». Главные информаторы названы в тексте: это тогдашний игумен «Касиян» (Кассиан) и ученик Кирилла «Мартиян» (Мартиниан), позже — игумен Ферапонтова монастыря и Троице-Сергиева монастыря. Касиян — «самовидец бжннаго и многымъ его чюдесемъ сказатель истинный бысть» (л. 5), а Мартиянъ — «самовидецъ такового жития ... иже от мала възраста живша съ стымъ Кирилоу. иже и ведый известно о стмъ» (л. 6). Поэтому сочинение насыщено конкретными историческими сведениями, именами, ссылками на обстоятельства. Так, подробный рассказ об исцелении княгини Марьи Белевской от «безчадствия» или «неплодства» (л. 49—54) завершается следующей ссылкой: «сия убо сама та княена М(а)рья исповеда единому от инок. тоя обителя достоверно. Игнатию же именемъ сеи же мне сказавъ. азъ ж слышавъ от него достоино. верно быти писанию предахъ. яко да не забвена стго чюдеса» (л. 54). Пахомий использовал и письменный источник — духовную грамоту Кирилла, которая включена в Житие с некоторыми изменениями (л. 69—72).

Документализм и достоверность изложения, относительная простота и ясность языка в повествовании о событиях — это самая примечательная особенность анализируемого Жития. Приведу один пример, характеризующий художественную практику Пахомия Серба. Описывая чудесную помощь святого по наполнению монастырских житниц во время неурожая и голода, Пахомий указывает: «... тогда и брашна в мучнице множае оску-

деваху ... видев же таковое чудо хлебнице монастыря того...» (л. 88). Слова *мучница* и *хлебница* называют, судя по тексту, одно и то же хозяйственное помещение, но какое: поварню, пекарню (хлебопекарню) или житницу? В монастырских описях Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г. [3] упоминаются три типа хозяйственных построек, связанных с хлебом: «хлебня» (хлебопекарня), «10 житниц под одною кровлею ... хлеб в житницах ...», «два анбара деревянные, а в них мука ржаная» (л. 456, 457, 498). Думаем, что в примере из «Жития Кирилла Белозерского» имеются в виду помещения для хранения зернового хлеба, т. е. житницы. Но стремясь к более конкретному называнию реалии, Пахомий берет не родовое название *житница*, а использует видовые синонимы, причем не обходится одним, а в духе плетения словес использует два синонима. Форма на *-ица* (*мучница*, *хлебница* и др.) объясняется традицией житийной литературы, кроме общепринятого *житница* ср. в «Житии Павла Обнорского»: *тружатис в магернице и въ хлебопецнице* (л. 77) или в «Житии Дионисия Глушицкого: в *магернице* (л. 31).

В связи с вышеупомянутым словом *магерница* «поварня» укажем на одну неточность в его передаче автором или переписчиком (или издателем) Жития Кирилла Белозерского: «посылаем бывает от настоятеля в *мегедницу* *сиречь в поварню*» (ЖКБ, л. 17). Вариант *мегедница* не зафиксирован ни Сл XI–XIV вв., ни СлРЯ XI–XVII вв., скорей всего, он просто ошибочен, такого слова не было.

Анализируемое издание Жития Кирилла Белозерского основано на рукописи РНБ, шифр Погод. 732, XVI в.

Для анализа нами выбраны два типа языковых единиц, обладающих специфической выразительностью: во-первых, слова и выражения, называющие разного рода недуги, способы и результаты лечения, во-вторых, бытовые слова, обозначающие предметы и явления окружающего мира.

Но для понимания смысловых оппозиций в тексте вначале скажем о предпочитаемых в данном Житии сложных словах книжного характера. Здесь решительно выделяется большое гнездо слов с ключевым словом *благо*: 26 употреблений слов с кор-

ниями *благ+чест* (*благочестиво, благочестивый*), 15 употреблений лексем с корнями *благ+дар* (*благодарящи, благодарение, благодарити*), 14 случаев — с корнями *благ+да(ти)* (*благоданну, благодать*), 12 фактов — с корнями *благ+словл* (*благословение, благословляет, благословенъ, благословитися*), 2 примера — с корнями *благ+род* (*благородному, благородный*). По одному разу употреблены слова *благовещательных, благоговейньстве, благоление, благоуветливъ, благоухание, благочинии*. С понятием блага в церковнославянском языке было связано понятие благочестия, «понятие благочестия в сознании средневекового человека соотносилось прежде всего с представлением о присутствии в мире всемогущего Бога, грозного и справедливого судии, определяющего всю его жизнь» [4]. С понятием блага связана семантическая оппозиция добра и зла, представленная в соответствующих рядах слов: *злостражуще / злестражоуца, злорадовашеся, злострадании, злостражуцимъ* (всего 7 употреблений) — *добродетель* (12 употреблений). Добро соотносилось с благом: набожность и благочестие человека — это признаки его доброты. Зло же персонифицировано с бесом, оно несет страдания, оно связано и с недугами человека.

Целительный потенциал святого и общие названия недугов описаны следующим образом: *всехъ дшевные струпы* обязова-
ша. *всехъ телесныхъ недуговъ* исцеляше *всехъ отъ злѣхъ* *сознание*
очищающе (л. 106 об.). Дар исцеления дарован богом: *таковая убо*
дарования стмоу даровашеся ради великаго его усердия и любве
еже къ богу понеже сисво есть слово гл҃шее просите и примете ...
не неким повелениемъ но Хса призываниемъ и пр҃чстыя его Бго-
матери (л. 68 об. — 69).

Синонимический ряд родовых названий болезней невелик: *болезнь* (31 употребление), *недугъ* (13 случаев): *болезнь премеис и бысть здравъ* (л. 59); *в недугъ телесный впасти ... случися в недоугъ великъ впасти* (л. 65); *впадох убо в частыя и различныя болезни, имъ ж нне одержимъ* (л. 70); *исцеление получивши от недоуга своего и бысть здрава* (л. 100 об.).

С помощью этих слов обозначаются и видовые типы болезней:

исцеление получи не токмо в телесных и въ душевныхъ (л. 68 об.).

При этом различаются сумасшествие (как недуг душевный) и телесные хвори, хотя преобладающая синтаксическая формула для их именованія одинакова: *одержимъ болѣзнию — одержимъ бесомъ*, но есть и различіе: *впасть въ болѣзнь*, но *мучимъ бесомъ — съкрушаемъ бесомъ — стражать отъ беса*.

Душевная болѣзнь, или **беснование**, т. е. сумасшествіе, описано отдельно, и хотя причина его всегда одна — бесовское наваждение, что учтено формально корнем слова (*беснование*, *бешенство* — от *бес*), но номинацій для его именованія несколько, например: *О бесноующимся ... злестражоуща от нечистаго бесе ... постражать от лютаго беса* (л. 45 об.); *яко въ иступлении оума бывшоу* (л. 53 об.); *бесомъ мучима люте* ... *бесомъ съкрушася* (л. 82); *бесъ нападе на нь. и начя его мучити* (л. 83); *бешение и злое мнїе* (л. 90); *бесомъ облаг.нь бывъ и сего ради ума своего изъстоупилъ бѣше и беси мнози явлениемъ страннымъ и страшнымъ являхоус томоу и смртию претяще* (л. 94); *бесомъ позавиденъ бывъ. и оума иступашу* (л. 104).

Подобная номинація характерна и для другого известнаго текста. Так, в Житіи Дмитрія Прилуцкаго (ЖДМ) больше всего свидѣтельств об исцеленіи сумасшедших. Приведем из ЖДМ все слова и выраженія, обозначающіе такой недуг: *единъ от них не-вегль и неразсуденъ* (л. 216 об.), *некако от привиденія дїавола оумомъ смятеся. и недостойная глиці* (л. 217 об.), *бесом мучимъ люте несмысленая гл(агола)ти. от беса приноуждасмъ люте* (л. 218), *томоу слоучися смятися оумомъ* (л. 218 об.), *впаде в недоугъ лють, яко весь раслабленъ. и смоутися смысломъ, и глти не могы* (л. 220). Часто в случае такой болѣзни указывается целый комплекс сопутствующихъ факторовъ в зависимости от того, тихимъ или буйнымъ видомъ помешательства пораженъ человекъ.

На первомъ мѣстѣ по употребительности в Житіи Сергія Нуромскаго (ЖСН) тоже будетъ *бесный недугъ*, номинаціи этого недуга разнообразны: о *бесномъ* человецѣ (л. 109 об.) — о человецѣ некоемъ *иступившемъ оума* (л. 111); *мучимъ от нечистаго беса* (л. 109 об.), от беса мучима люте страждуща (л. 110 об.), случися ему *смятену оумомъ быти* от зависти и рвенія бесовскаго (л. 111) — *преданъ бысть сатане во измождание плоти и толико възмате-*

ся оумом (л. 115 об.), одержаше его *бесный недугъ*. и зело мучаше его *бесъ* (л. 113). Судя по контекстам, сюда же относятся *черный недугъ* и *оугарная немощь*: *обдержимъ бысть немощию от нечистаго дха черным недугом яже г(лаго)лется оугарная немощь* к сему же и *разслабленъ бысть. яко не мощи ему ни рукама ни ногама двигнути* (л. 125 об.), *болень бе черным недугом.* и не гла *оусты* своими ничтоже (л. 138). Поражающая сила этого недуга была комплексной: некую жену велми болну *от беса мучиму.* и оума ея *иступивши* якож быти еи в велице *разслаблении* ни рукою ни ногою *никако же владети или двигнути* (л. 130 об.).

Ср пример из Жития Герасима Вологодского: *поколебалась оумомъ* (л. 224) — *от духа нечистаго страдаше* (ЖГВ, л. 228).

Видовые названия телесных болезней в Житии Кирилла Белозерского приводятся редко (о них речь пойдет дальше), чаще описывается состояние больного человека как общая слабость: *оуди тела его раслабишас* (л. 49); *Афонасью случися болезнию великою одержимоу ему быти вси убо уди тела того раслабишася и не можаше отиноуд двигнутися* (л. 54 об.); *телесною силою слабшас ... немощенъ ж быхъ ... немощные оуды ...*(л. 73 об.).

Конкретные обозначения болезней немногочисленны: 1) *болети ногама*: *ногама болети* (л. 98); 2) *студеная болезнь* — *трясовица*: *бяху тогда студеною болезнью одержими сиречь трясовицею или иными некыми недуги вси исцелиши блгдтию Хвою* (53 об.); 3) *слепши*, см. пример: *слепа и не видяци* (л. 56 об.); 4) невозможность иметь детей в рассказе о княгине Марии Вельской обозначена несколькими номинациями: *безчадствие*, *неплодство*, *чада не имуще*, см примеры: *чада не имоуще ... о своемъ безчадствии ... разреши неплодство* (л. 49 об.). Исцеление от этого недуга обозначается по-другому: *дасть бгъ плод детородия* (л. 50).

Выздоровление обозначается преимущественно словами с корнем -цел-: *исцеление*, *исцелити*, *исцелившиися* в различных формах и чаще в сочетании: *исцеление полоучи* (л. 82). Есть и другие варианты обозначения здорового состояния: *здрава створи въ его* (л. 49), *устрабися от болезни* (л. 59 об.), *пременися от недуга* (л. 66 об.), *бысть здравъ и смысленъ* (л. 91 об.).

В «Житии Кирилла Белозерского» мы имеем образец «правильного» жития, здесь все правильно с точки зрения канонической агиографической практики: и содержание, и структура, и язык. Пафос и риторические украшения там, где следует, и в ограниченном количестве, минимум бытовых реалий и описаний, обобщенные наименования предметов и явлений. В «Житии Кирилла Белозерского» по сравнению с другими житиями, написанными местными писцами, соматическая лексика и фразеология, как и обозначения болезней, используются в общерусском варианте, преимущественно это родовые названия.

Приведем для сравнения названия болезней, выявленные нами в «Житии Герасима Вологодского», которое некоторые исследователи называют «Повествованием о чудесах»: в его составе 25 чудес (по списку XVII в.): 1) *скорбяше ногами ... правую ногу ему скорчило и жилы сволокло* (л. 222) — *немоцна была правою ногою... боле щепело в берце* (л. 226) — *скорбела ногою, была притоциная язва на плесне* (л. 231); 2) *скорбель лихорадкою* (л. 230); *скорбь была в немъ нутреная порча, и телесныя оуды отнялися* (л. 225 об.); 3) *болящу ему очми* (л. 229 об.) — *ослепеша очи его* (л. 240 об.); ; 5) *случися ему зубною болезнию одержиму быти* (л. 238); 6) *скорбяше главою щепело во главе* (л. 241 об.) — *начи в главе оу него болети, и бысть щепота* (л. 247 об.).

Рассмотрим еще материал небольшого по объему Жития Дионисия Глушицкого (ЖДГ), созданного в 1495 г. иноком этого монастыря Иринархом [5] (известно около 80 списков этого текста; анализируемый список относится к 20-м гг. XVI в.). Здесь мы встречаемся с локальным вариантом обозначения зубной болезни *зоубом болезнь: неких члкъ име. зоубом болезнь* (ЖДГ, л. 27 об.).

Чудес исцеления в ЖДГ нет, но возможность исцеления у гроба описана в терминах народной медицины: *Идеж нне от гроба стго здравие приемлют. слепым прозрение дает. от бесовъ свобожделение. ослабленным стягнутия. скорчющим роукам протяжение. и всем болезням здравие дает* (ЖДГ, л. 61). Кстати, подобное место есть и в ЖСН: *от гроба стаго многим исцеление бываше. бесным оущение слепым прозрение, хромымъ течение, и всякыми недуги одержими здравие приемлють* (ЖСН, л. 109 об.).

Обратимся к «Житию Димитрия Прилуцкого». Святой Димитрий (нач. XIV в., Переяславль-Залесский — 11. 02. 1392, Спасо-Прилуцкий мон.) по известности и почитанию сравним с Сергием Радонежским: он «бываше събесѣдникъ дховный. иже тогда всеа Роуси светилникоу. прпдобномуу Сергию чудотворцю. к томоу в манастирь стыя и живоначалныя Трѣца прихожаше. и от нег бласвение принимаше (ЖДП, л. 205 об.). Великий князь Димитрий Иванович «почиташе того якоже втораго столпа в Роуси великого Сергия, тако и от сего блаженаго, бласвение и молитву приема» (ЖДП, л. 207 об.).

По мнению С.А. Семячко, «Житие Димитрия Прилуцкого было одним из наиболее популярных агиографических произведений средневековой Руси» [6], к настоящему времени выявлено более двухсот списков этого Жития. Ученые датируют его разными периодами XV в. В одном из списков значится, что это «творение тоя же обители игоумена Макария» (ЖДП, л. 201). Анализируемый список (список РНБ, Софийское собрание, № 1361, XVI в.) содержит предисловие, основную часть и 8 чудес.

Сравнивая соотношение риторического и фактографического начал в тексте, отметим, что автор отдал предпочтение риторическому. Но достоверность («фактографичность») подтверждается топонимикой и ономастикой, связанными с биографией Димитрия Прилуцкого. Имеются и ссылки на «самовидцев»: «токмо поя съ собою оученика своего. достоверна въ всемъ и подобна его житию смиренному, именемъ Пахомия. тои нам много свидетельствова о житии блаженнаго» (ЖДП, л. 208).

Обратимся к медицинской лексике в Житии Димитрия Прилуцкого (об именовании сумасшествия сказано ранее).

Нередки указания на слепоту человека, иногда в комплексе с другими недугами: едином *оком слепа* зане от болезни на лице выстоупаше. такоже и роукою единою ничто же владея (л. 219).

См. упоминания о болезни *корчета* — *зелное корчение*: быс в людех тяжекъ недоугъ *корчета* и многих болны скорченых роуками и ногами ... от *зелнаго корчения* (л. 215 об.).

Оценим материал из житий двух выдающихся подвижников XIV — начала XV в., учеников и последователей преп. Сергия Ра-

донецкого: это жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. Анализируемые рукописи датируются XVI в. Особо значимо для целей нашего исследования Житие Сергия Нуромского (ЖСН): во-первых, автор ссылается на свидетельства современников и использование письменных источников (*написах имх елика в слухи моя достиже, и елика в свитцех обретох написана от многих малая* — ЖСН, л. 135); во-вторых, в составе этого жития — 77 чудес, что позволяет выявить достаточный перечень болезней в именовании конца XVI в.

Что касается общих названий болезней, то, судя по данным житий, в разговорной речи предпочиталось слово *недугъ* (ЖПО — 12, ЖСН — 42 употребления). Лексема *болезнь* имела более высокий стилистический статус и замечена меньше, причем преимущественно во фразеологических сочетаниях: ЖПО — 15, ЖСН — 17. Значительно реже отмечаются слова, относящиеся к гнезду (*не*)*моу*с: 5 и 8 случаев соответственно. Приведем несколько примеров: *в болезнь впаде тяжку зело, и от тоя болезни вельми изнемогати ему крепце* (ЖСН, л. 103 об.); *случися в великъ в недугъ впасти. и никакоже ему моуно от недуга своего и от зелныя немощи оусты своими глати* (ЖСН, л. 127 об.).

Перейдем к родовым названиям (далее все иллюстрации — из Жития Сергия Нуромского).

Чаще всего болезни именовались составными наименованиями, в качестве опорных выступали слова *недугъ*, *болезнь*, *немоу*с: 1) *падучею немощию*, 2) *взметным недугом*, 3) *водным недугом*, 4) *болезнию студеною*, 5) *зубною болезнию*, 6) *очною болезнию*, 7) *зелныя болезни*. См. примеры: *сей одержжим бысть падучею немощию взметным недугом обията бысть* (ЖСН, л. 119), *боленъ бысть водным недугом* (ЖСН, л. 114 об.), *одержжимъ болезнию студеною* (ЖПО, л. 69), *одержжим зубною болезнию* (л. 68), *впаде в болезнь очную яко нимало видети света сего от зелныя болезни* (ЖСН, л. 131 об.); *очи ему тяжки от зелныя болезни. и белма на них явишася а в. их яко мясо являшася* (ЖПО, л. 47 об.).

В других случаях *болезнь* именуется одним словом (*слеп*, *нема*, *разслабленъ*) или характеризуется описательно. Приведем соответствующие примеры: *слеп* бе *обема очима* не видети света

(ЖСН, л. 119) — *очима скорбну*, много летъ и света не видевшу (ЖСН, л. 121), Павелъ нем и раздроблен всеми оуды (ЖСН, л. 123 об.) — жена некая Киликия разслаблена всеми оуды (ЖСН, л. 110), ничемъ не можаше от оудъ своих владети. разслабис вся составы ея (ЖСН, л. 127 об.), рукою не владаше (ЖСН, л. 122 об.), о некоем члѣе суху имуще руку (ЖСН, л. 190) — оусше ему рука и нога (ЖПО, л. 45 об.), оцепенеша челюсти его и бысть немъ и разслабленъ много летъ (ЖСН, л. 114), вси оуди тела его разслабиша и нозе мои от пояса до поплесния моего опухли яко мехи надмени (ЖПО, л. 52), от великаго же того опуху язвы на них явишася (ЖПО, л. 49). Распространенность описательных выражений — свидетельство неразработанности медицинской терминологии в русском языке в период Московской Руси.

В заключение приведем несколько примеров употребления местной лексики в севернорусских житиях.

В ЖДГ зафиксировано местное название черемухи — *черемошие*: «*есть ... то древо и до сего дне. ягодичие имат черно зовомо черемошие. и неких члѣк имѣ. зовомо болезнь и с верою снести ягодичие от того древа, абие полоучи здравие* (ЖДГ, л. 27 об.). Формы *черемошие*, *ягодичие* любопытны и как словообразовательные структуры: здесь реализована модель на *-ие*, непопулярная для именования ягод в современном литературном языке.

В ЖДГ встретилось любопытное название сосны — *певгъ*: *на том месте бе древо велико зовомо певгъ. рекома сосна* (ЖДГ, л. 33). Что такое *певгъ*: родовое название сосны или собственное имя дерева — остается загадкой. В Северной Руси в старину имена собственные получали иногда крупные предметы домашней утвари, например сосуды для воды.

Оценим два выражения из Жития Павла Обнорского: *издирокъ портяньи, варение квасное*, см. примеры: *оу мене ноги по лодышки отзябли да и отпали а помыслы изметаны якоже онуци или яко издирки портяные* (ЖПО, л. 67); *бе некий братъ проходяще службу мнѣтрскую варение квасное* (ЖПО, л. 45). *Издирки* — рваные обноски (близкое к этому значение «обносок, что-л. рваное, изношенное» указывает и СЛРЯ XI–XVII вв., 6: 152), слово отмечается еще в севернорусской деловой письменности; *варение*

квасное — получение кваса способом варки. СЛРЯ XI—XVII вв. не фиксирует фразеологизм *варение квасное*, хотя квас в России был очень популярен, и варение как способ его приготовления был основным. Думается, есть основание оба выражения занести в разряд повседневной лексики и фразеологии.

В целом лексики с положительными коннотациями в составе житий больше, чем слов и словосочетаний с отрицательной семантикой, поскольку житийные тексты посвящены восхвалению праведников, описанию их подвигов и чудес, творимых при гробе или с помощью имени святого. Слова и фразеологизмы с отрицательной коннотацией сосредоточены именно в чудесах при описании болезненных состояний.

Старорусские жития местного происхождения представляют интерес в качестве источника для изучения живой повседневной речи, но далеко не в полном объеме: в этом смысле интересен раздел «чудес», особенно описания недугов и практики чудесных исцелений.

Примечания

1. Ефимов Н. Преподобный Кирилл Белозерский и его послания. — Симбирск, 1913; Словарь книжников и книжности Древней Руси. — Л., 1988. — Вып. 2. — Ч. 1. — С. 475—479.
2. Там же.
3. Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 г. — СПб., 1998.
4. Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. — М., 2002. — С. 190—191.
5. Словарь книжников и книжности Древней Руси... — С. 439.
6. Семячко С.А. Из истории вологодской агиографии // Жития Дмитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского. — СПб., 2003. — С. 11.

Источники

ЖГВ — Житие Герасима Вологодского // Жития Игнатия Вологодского, Игнатия Ломского, Герасима Вологодского и Кассиана Угличского. — СПб., 2008.

ЖДГ — Житие Дионисия Глушицкого // Жития Дмитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского. — СПб., 2003.

ЖДП — Житие Димитрия Прилуцкого // Жития Димитрия Прилуцкого, Дионисия Глушицкого и Григория Пельшемского. — СПб., 2003.

ЖКБ — Житие Кирилла Белозерского. — СПб., 2000.

ЖПО, ЖСН — Жития Павла Обнорского и Сергия Нуромского. — СПб., 2005.

СЛРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. — М., 1975. — Вып. 1. — (издание продолжается).

СЛ XI—XIV вв. — Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. — М., 1988. — Вып. 1. — (издание продолжается).

Слово и художественный текст в XVII в.: взаимозависимость и взаимообусловленность

Выбор источников, достаточно содержательных для эффективного филологического исследования, играет важную роль. Наиболее благоприятные возможности такого рода начинаются при обращении к источникам второй половины XVI в. и более поздним: здесь можно подобрать тексты, многообразные в жанрово-стилевом отношении и связанные с разными русскими территориями. Обследование большого массива текстов позволяет достаточно полно изучить историю любого слова в его фонетико-грамматических и лексико-семантических вариантах, его стилистическую и функциональную зависимость от текста. Как важен учет разнохарактерных текстов для анализа слова, показывает следующий отрывок из сугубо богословского трактата Юрия Крижанича «Смертный разряд» (XVII в.), в котором значительное место уделено спору о том, какой хлеб следует использовать при причастии: пресный или квасной, см.: «Общено адда име ест Хлеб, а уделна пак имена есут: *Коврига, Бохан, Колач, Кулич, Краваща, Сайки, витушка, обаренец, вертан*. И по другому обзору уделна же имена: *Пшеничник, Рженик, ячменник, овсеник, просеник*. И по тритем обзору уделна же: *Оприснец, кваснец, погача, парник*» [1: 100]. Подобного перечня разновидностей печеного хлеба, да еще с готовой классификацией по трем критериям, нет даже в деловых текстах.

Обычно лексику предметно-бытовой сферы (названия построек, одежды, утвари, пищи) изучают по текстам делового или историко-повествовательного содержания: данные тексты характеризуются значительной предсказуемостью употребления бытовой лексики, в то время как художественные и религиозные тексты отличаются случайностью появления слов бытовой сферы. Деловая письменность позволяет быстро собрать массовый материал, но без учета литературно-художественных и религиозных текстов мы не получим полного представления о функционировании слова в русской речи соответствующей эпохи, о всех нюансах его семантики и стилистики. Нужно принять во внимание и возможную активизацию именно литературно-художественной деятельности общества в отдельные периоды, активизацию, обусловленную социально-историческими причинами. Так, для XVII в. было характерно расширение социального состава пишущих за счет мирян разных чинов и сословий, увеличение объема литературной продукции («эпоха молчания сменилась эпохой русского многоглаголания»), появление новых родов литературы: поэзии и драматургии [2: 292, 293, 296, 313].

Задача оценки литературно-художественных текстов XVII в. как источника по исторической лексикологии актуальна и потому, что за последние десятилетия значительно увеличилась источниковая база истории русской литературы XVII в. благодаря изысканиям и публикациям сотрудников Института русской литературы АН РАН (Пушкинского Дома), Института русского языка АН РАН. Значительные по объему и содержанию тексты опубликованы в «Трудах отдела древнерусской литературы Института русской литературы РАН». Эти новооткрытые или впервые изданные тексты в большинстве своем еще не введены в лингвистический оборот.

Оценим более подробно литературно-художественные тексты XVII в. как источник по истории лексики, обратив внимание на особенности употребления в них бытовой лексики.

1. Расширение социального состава авторов, демократизация содержания литературных произведений привели к тому, что в текстах появились упоминания о таких конкретных дета-

дах внешнего вида, качествах, свойствах, хозяйственных функциях бытовых предметов, которые не названы даже в деловых документах.

Одно из назначений поветей как укрытия для скота в непогоду раскрыто в следующей фразе из произведения Аввакума «О сотворении мира»: и коровы болши знают вас, пред погодою визжат, да ревут, и под *повети* бегут (РИВ-39, с. 683). Упоминаются в литературно-художественных текстах *полати* «навесная площадка под потолком избы для отдыха и сна», более 15 раз это слово повторяется в «Службе кабаку», см. также в «Повести о Шемякином суде»: Убогий же прииде к тому же попу и, пришед, ляже у него на *полати*... Убогий же нача с *полати* смотрети, что поп з братом его ест, и урвася с *полатей* ка зыпку (Сатира 17 в., с. 17, вторая пол. XVII в.). Походные жилища турецких воинов описывает автор поэтической «Повести об азовском осадном сидении в 1642 г.»: И почали они, турки, по полям у нас *шатры* свои турецкия ставить. И *полатки* многия, и *намети* великия, и *дворы болшия полотняныя*, яко горы высокия и страшныя забелелися (Воин. повести, с. 61, к. XVII в.). Функция заднего крыльца как местонахождения нужника характеризуется в «Повести о боярыне Морозовой»: Великой убо Феодоре изшедши на *задней крылец*, *идеже исходят на нужную потребу* (с. 138).

Разнообразны бытовые описания в таких произведениях демократической сатиры, как «Сказание о роскошном житии и веселии», «Повесть о Горе-Злочасти». Однако описание трапезы с перечнем иноземных блюд мы найдем и в историческом «Сказании о даре шаха Аббаса России»: на трапезе же *простыя снеди* тогда поставляются: *ивхарь*, *сиречь икра черная или красная*, какова прилучится, да *три варения с маслом: крамбия да лапша сочивная. Да каша соковая, да квас от меду* (ТОДРА-28, с. 384). Бытовые предметы и их функции называет Карион Истомин в стихотворном «Домострое» 1696 г.: Воду, *платенцо*, *лохань* же и *мыло* умыти лице неси, чисто б было... Домовладыкам когда час обеда, служащим блюсти чиннаго в нем следа: Осмотрети *стол*, *скатерть белу* слати, *хлеб*, *соль и лжицы*, *тарели* собрати (Рус. силлаб. поэзия, с. 207, 208).

2. В XVII в. происходит бурный процесс обновления лексики: вовлечение в письменное употребление новых слов и выход из обихода устаревшей лексики [3: 127—128]. Так, в списке XVII в. «Повести о купце» употреблено слово *квартира* — *квортера*: Купец же похлонися и поиде до квортеры своея... Купец же приидоша до квартиры своей (Пов. XVII в., с. 132). Сл. РЯ XI—XVII вв. иллюстрирует это слово примерами из повестей о Савве Грудцыне и Фроле Скобееве по спискам XVIII в. (т. 7, с. 103).

Одним из источников новой лексики были местные говоры, что нашло отражение в художественных текстах. Диалектные слова *укруха* — *укруга* «род напитка» и *кут* «часть сельской усадьбы» встретились в «Сказании про храброго витезя про Бову каралевиचा»: И рече Пилигримъ государь мой храбрый витез Бова королевичъ яз пью *укруха* а тебе государь дамъ тожъ *укруги* и старецъ почерпнулъ чашу *укруги* и уклонился всыпаль усыпляющего зелья и даль Бове и Бова выпилъ ... И скочилъ Бова ... и почель мужиковъ рубить от дверей и до *куту* мужиковъ порубилъ да и вонъ пометаль (Сказ про Бову, с. 61, 73). Территориально ограниченное слово *зимовье* употреблено в «Житии протопopa Аввакума» (по сп. около 1673 г.): в дождь прилучилось, одежды не было, а *зимовье* каплет, — всяко мотаемся ... той мужик близ моего *зимовья* привел барана живова (Изборник, с. 645, 646).

Благодаря широкому употреблению в одном и том же тексте синонимических соответствий разной структуры (слово — словосочетание — описательное выражение), в литературных произведениях может быть зафиксирован процесс трансформации составного наименования в одно слово, например: *богадельная изба* — *богадельня*, *темная полата* (*полатка*) — *темница*: Марта в 24 день о Покровки из *богадельные избы* старица Агафья сказала ... сказали у них в *богадельне* сего дни, что от государя патриарха будет к ним в *багаделне* власть з господнею ризою (Документ. сказ о даре, с. 267); У Николы на Угреше сежю в *темной палате*, весь обран ж пояс снят со всяцем утверждением, и блюстителя пред дверьми и внутрь *полаты*... Писано в *темнице* лучинкою, кое-как (Три соч. Авв., с. 262, 263; письмо к сыну, 1666 г.); По сем свизли меня паки в монастырь Пафнутьев и там, заперши в

темную полатку, скована держали год без мала... И притече ко мне с келейником ночью в *темницу*, — идучи говорит: «Блаженна обитель — таковыя имеет *темницу*! Блаженна *темница* — таковых в себе имеет страдальцев» (Изборник, с. 657, 658; Жит. пр. Авв., ок. 1673).

Определенная часть текстов морально-назидательного и религиозного содержания избегала конкретных наименований, в них предпочитались описательные обороты, например: показася ему демон во *гнусной кухнарской оконопелой одежде* ... показася во храмине, идеже сedit, слуга его, имея *одежду такову. иже от дождя употребляют* (Великое Зерцало, с. 247, 314, к. XVII в.). В деловой письменности той поры мы находим указания на то, что в качестве кухонной одежды употреблялись *балахоны*, а верхняя одежда от дождя называлась *емурлук* [4: 57, 58]. Иногда отсутствие в художественных текстах однословных наименований свидетельствует об отсутствии или редком употреблении данного слова в языке XVII в., см., например, составные наименования со значением «мирское помещение для приема пищи» (ср. *трапезная* — в монастыре): и в год его царского обеда дверем сущим отверстым *палаты тоя, идеже кушал*, всякому внити невозбранно повелевая, тогда во множестве иных в *столовую* ону *полату* вниде Мартин Лютор (Великое Зерцало, с. 404, к. XVII в.). Слово «столовая» зафиксировано нами только дважды в великоустюгских актах XVII в.

Художественные тексты способствуют вовлечению в письменный обиход из разговорной речи уменьшительных образований с эмоционально-оценочным значением, например: В четвертое же лето сын отца и мать подушцием жены отлучиша во особый *домок* ... «Аз убо днесь насыщуся от скудных брашен, иже в *домишку* нашем суть»... Отец же, видев, что бысть, ничто же рек, в *домик* свой возвратися (Великое Зерцало, с. 242, к. XVII в.). Чаще встречаются уменьшительные образования в текстах, близких к народно-разговорной речи; так, в «Житии протопопа Аввакума» зафиксированы слова *хлебец* (наряду с более частым *хлеб*), *кафтанишко* (и *кафтан*), *шубенко* (чаще *шуба*), *молочко*, *ветчинка* и др.

Хотя и редко, но именно в художественных текстах вероятнее всего употребление архаичных для XVII в. слов, что вполне объяснимо: «... единство древнерусской литературы на всем протяжении развития с XI по XVII в. обеспечивало и единство традиции древнерусского литературно-письменного языка вплоть до середины XVII в.» [3: 19], в частности, повторяемость отдельных элементов лексической системы. Так, слово *сакк*, архаичное для XVII в., употребил С. Полоцкий в своем «Ряфмологионе»: Ныне ты нам царь Христом утвердился, венец на главу ти егда взложися... И внегда царским *сакком* украсися и порфирию сияшъ явися (Полоцкий, с. 156). Во «Временнике» И. Тимофеева употреблено редкое слово *теплища* наряду с обычным для XVII в. *баня* (употреблялось также слово *мыльня*): Но обычай бяше новобрачным ради измовения тела в *баня* входить; и по совокуплении того с своею купно з госпожею и женою вниде той предиреченный отрок в *теплищу*. Но zde страх, zde трепет! Дивно чюдо содеяся, тогда, внегда отрок вниде в *баню* (Вр. Тимофеева, с. 99, 1616—1619 гг.).

В тексте «Великого Зерцала» употреблено слово *кана* «шапка», которое Сл. РЯ XI—XVII вв. иллюстрирует одним примером из «Повести о Дракуле» 1490 г. (т. 7, 61). См. наш пример: Господин же вопроси: «Аще еси в муках, то како сию чюждую одежду носиши?» Он же отвеща: «*Кана* сия, юже зриши добровидну и чюдну, толикую дает мне тягость, яко башня пинарийска, аще бы на мя возложена была» (с. 315, к. XVII в.). В связи с этим примером обратим внимание на отсутствие в языке той поры наименования «головной убор», вместо которого в деловой письменности употреблялось слово *шанка* во множественном числе, а в книжных текстах, как видно из примера, — *одежда*. См. еще пример из сказочной «Повести об азовском взятии и осадном сидении»: *обвертеша главу во одежду ево* (Воин. повести, с. 102, к. XVII в.).

3. Встречаются в литературно-художественной речи малоупотребительные и окказиональные слова, например *хлеботворица* вместо обычного *хлебня*. Его же ради тружаются, работающе в *хлеботворицах* и поварни: (Жит. Серапиона, с. 157, первая пол. XVII в.). Встречаются подобные слова в «Вертограде многоцветном» С. Полоцкого: И ял есть бобом токмо онаго питати,

Сам же сладкая тайно о женоу кушати... Сын, восхитив то брашно, во *скров* сохранил есть (Рус. силлаб. поэзия, с. 25, 1664—1668 гг.). Индивидуально-авторские окказионализмы встречаются и в фольклорных записях конца XVII в.: Приехали ис поля добрые молодцы его удалые, привезли, *нитеры* и *едеры* всякие. Проговорит Иван Гоудинович: Не надобеть мне ни *нитера* ваша, ни ества сахарная (Былины, с. 196, Иван Гоудинович).

4. В литературном языке XVII в. наблюдается закреплённость отдельных слов за тем или иным типом контекста. В литературно-художественных текстах, тяготеющим к старокнижным традициям, предпочитают слова с обобщённым значением. Так, из названий жилых построек в книжно-письменной речи предпочиталось слово *храмина*, которое легко заменяло собою многие другие названия (*богадельня*, *дом*, *хоромы*, *хижа* и т.п.): в *домы* их и в *богадельни* ходили ... живут в *домех* и в *храминах* (Документ. сказ. о даре, с. 266); И проводиша их в *хоромы*, а сам лег на дворе. Он же в *храмине* спаша с царевною своею (Пов. XVII в., с. 135; Пов. о купце); никогда смеяли внити в *дом* сына своего ... прилучи матери сидети противу *храмины* сыновнию. узре во *храмине* его пряжена гуся; священник же повеле, да вси суции в *дому* его изыдут... И егда точию человецы из *храмин* изыдоша (Великое Зерцало, с. 242, 316, к. XVII в.). Слово *храмина* «жилище вообще» встречается в стихах, повестях, временниках.

В религиозно-художественных сочинениях пустозерских узников употреблено слово *хижа* в общевиновом значении «постройка»: сидящу ми в *темнице* принесоша ми просвиру... И на ину ночь един бесъ в *хижу* мою воцед (Пустоз. сб., с. 70—71, Жит. Авв., 1675 г.); ... внидох в *хижу* мою и возлеж опочинути, и скоро отворишася двери *избы* моя (Пустоз. сб., с. 116, Жит. Епифания, 1675 г.).

Только в литературно-художественных текстах отмечены специальные наименования помещений для сна: *ложница* — *постельная храмина* — *постельная*, из которых чаще всего употреблялось слово *ложница*. См., например: Муж же нача в совести убогатися и помышляя о жене, яко некто есть на *ложи*, и вскочи *напрасно* и удари *ложницы* в двери и отвори скоро (Великое

Зерцало, с. 212); по отшествии же стола того сядящу ему в *ложницы*, и внезапно ... падъ издше (РИБ-13, с. 864, Иов, Шаховского); у святителя государя в *ложнице* была (Ж. пр. Авв., с. 153; Книга толкований, к. XVII в.); по отшествии стола того мало времени минушю, царю же в *постелной* своей *храмине* сядящу, и внезапно случися ему смерть (РИБ-13, с. 574, Пов. Катырева-Ростовского); Княгиня же отиде в чюлан, иже устроен в той же *постелной* ... вниде в *постелную* дерзьско и виде ю возлежащу (Пов. о Морозовой, с. 134).

Анализ употребления слов предметно-бытовой сферы, предпочитаемых в книжно-письменной речи, показывает, что выбор их обусловлен не образностью, а обобщенностью семантики, способностью выступать не только в роли наименования конкретного предмета, но и символа чего-либо. Симеон Полоцкий, например, из названий человеческого жилища предпочитает слово *дом* (*дом* — 56 употреблений, *палата* — 10, *жилище*, *чертог* — по одному), из названий одежды — *венец* и *риза* (*венец* — 37, *риза* — 17, *одежда* — 13), из названий съестных припасов — *хлеб* (*хлеб* — 26, *пища* — 7, *брашно* — 4, *снеть* — 1; подсчитано по изданию: Полоцкий С. Избр. соч. М.; Л., 1963). Из родовых названий одежды для книжно-письменной речи более свойственно слово *одежда*, в то время как в деловой письменности предпочиталось слово *платье*. Так, в поэтических текстах XVII в., представленных в сборнике «Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв.» (Л., 1970), слово *одежда* встречается 12 раз, далее до употребительности *риза* в значении «одежда» — 8, *одеяние* — 2, *платье* — 2, причем один раз во фразеологическом выражении *черное платье* «монашеская одежда». С другой стороны, в книге выдачи платья и обуви старцам и работникам Спасо-Прилуцкого монастыря 1627 г. (Гос. архив Вологодской обл. Ф. 883. № 90) употребляется в качестве общего названия только слово *платье*, синонимические соответствия к нему отсутствуют. Однако и художественные тексты неоднородны по своей языковой основе, так в «Житии протопопы Аввакума», близком к народной; разговорной речи, слово *платье* употреблено 7 раз, а *одежда* — только в одном случае.

В книжных текстах, отмеченных печатью архаизации, авторы использовали вместо общерусского разговорно-литературного *онуча* выражение *плат обувной*, см. пример: сандаleyца со *обувными платами* (Вр. Тимофеева, с. 51, 1616 г.).

Книжному слогу *брашно* с довольно широкой семантикой в деловой письменности соответствовали слова *хлеб, корм, ества, харчи*, например: сон умерен, седение на трапезе со благочинием, *брашном* малом питался, а не *чревообъядением* (РИБ-13, с. 842, Пов. Шаховского); ... да причастятца *брашину* от трапезы их (Пов. 17 в., с. 52; Пов. о Марфе и Марии); Шил же моля его дабы *брашна* вкусил на его трапезе (Пов. о Шиле, с. 146, к. XVII в.). Ср. в пословице XVII в.: По пашне и *брашно* (с. 37), что не опровергает мнения о книжном характере этого слова, так как одним из источников пословичного фонда была и книжная письменность.

Наряду со словом *брашно* в художественных текстах выступает слово *ядь*. Так, в тексте «Великого Зерцала» по списку конца XVII в. оно употреблено одиннадцать раз при полном отсутствии слова *пища*, например: Гордостна же зело; вкушала златыми вилами со драгоценным камением, *ядь*, не прикасаяся руками, во уста своя влагала (с. 225); возми у меня некий порошок и потруси во *яди* его, и егда вкусит, к тому ты озлобляти *не* будет (с. 309); ... принесоша изрядну и сладчайшую *ядь* с мигдалы и дактилы и со иными присмаки, бе же зело горяча (с. 312).

Книжники старорусского периода пользовались разными языковыми средствами вполне сознательно, свободно меняя книжную манеру изложения на разговорную. Что же касается отдельных слов, то их выбор определялся общим лексико-семантическим и стилистическим фоном контекста. Стихийное одновременное употребление церковно-книжных фразеологизмов и разговорных синонимов встречается в изобилии у Аввакума, см.: Потчивают друг друга *зелем неразтворенным, сиречь зеленым вином процеженным и прочими питии* (Жит. пр. Авв. 182, с. 1672).

5. В совокупности лексических значений слова можно выделить контекстуально связанное значение, то есть проявляющееся только в контекстах определенного содержания и известных стилистических качеств. Так, только в художественных и религи-

озных сочинениях у слова *риза* многочисленными случаями употребления представлено родовое значение «одежда», причем для обозначения специальной одежды духовных лиц в этих случаях используются другие наименования: совлече с нево *мнишеское одеяние* и облече ево в *светлые ризы* (РИБ-13, 569. Пов. Катырева-Ростовского); отец паче инех чад своих любляше, яко бяше красна и лепа телом, и сотвори ей воскресную и богату *одежду* ... девица же *ризы* же *красныя* отверже (Великое Зерцало, с. 324—325, к. XVII в.); егда же зима настояще, у детей своих взимае сребреницы, чим устроити теплыя *ризы*, и то нищим раздаяше, а сама без теплыя *одежды* в зиму хождаше (Пов. об Улиянии, с. 301).

6. В художественных текстах благодаря вышеотмеченным свойствам (см. п. 4—5) употреблялись синонимические ряды с определенным кругом синонимов, своеобразный характер носила и сама синонимия. Поскольку синонимичность художественным текстам свойственна в значительной степени, то уже в XVII в. литературно-художественные тексты начинают все чаще выступать в качестве лаборатории семантико-стилистических экспериментов.

Преимущественно для книжной речи были свойственны такие синонимические ряды: *чертог* — *обиталище* — *полата* — *дом* — *жилище*; *одежда* — *одеяние* — *портище* — *риза*; *брашно* — *снесь* — *ядь* — *ястие* и т. п., причем все эти слова характеризовали предмет весьма обобщенно и отвлеченно: Вся от главы и до ног в черное *одеяние* облек, сообразны же *одеждам* их и коня им своя имети повелел (Вр. Тимофеева, с. 13); Узреша же и *палаты* всезлатыя и *чертоги* пресветлыя... Внидоша же в великий *дом*, предивно убранный, и престол в нем великий узреша. Тогда провожатый рече: «Сицевое пресветлое *жилище* и воскресное пребывание уготовано царю Рабфоду». Диакон же видя удивися, помышляя, кыя ради правды такое *обиталище* царю непросвещенну уготовано (Великое Зерцало, с. 385, к. XVII в.); а егда пред обедом «Отче наш» проговорю и *ястие* благословляю, так тово *брашна* и не есть (Пустоз. сб., с. 64, Жит. Авв., 1675 г.).

Если в деловой письменности представлен синонимический ряд *постель* — *кровать*, то в книжно-литературных текстах зафиксирован другой набор синонимов: *ложе* (*ложа*) — *постель*

— *одр*, см., например: ... потом повеле их вести на *ложу* спать... Ежели в другой раз вздрогнет, то ты сойди с *постели* и стань на мое место, а я возьягу на *одре* с нею (Пов. 17 в., с. 133, «Повесть о купце»).

Широкое употребление синонимов в литературно-художественных текстах — весьма важная особенность, позволяющая с опорой на восприятие носителей языка определенной эпохи устанавливать семантическое тождество слов, например, таких, как *престол* — *место престольное*, *кабак* — *корчма*: Повеле же сотворити ров великий и повеле угляя горяпцаго до половины насыпати и над тем рвом поставити *престол* ветхий и струхлявый... Призвав же брата и посади его на оном ветхом и струхлявом *месте престольнем* над оным углем (Великое Зерцало, с. 218, к. XVII в.); Яко хто на *корчме* бытен пьет, всяк его хвалит в те поры, кое у него видят и пьют, а жити про себя на *кабаке* и не пити, яко в век скупому лают и хотят вси с одного ограбит» (Сатира 17 в., с. 45, «Служба кабаку», 1666 г.).

Борьба двух тенденций в литературных текстах: книжной отвлеченности и конкретности разговорной речи — актуализировала такое явление, как контекстуальная синонимия родового и видового наименования, например: *хлев* и *овчарник*, *хлевина* и *свинарь*: С волками — кто видал? — агнцы коли водворяются во един *овчарник*? И на поле от волка бегают овцы, а в одном *хлеве* и один волчищо сотню ягнят передавит (РИБ-39, с. 822, Авв.) Алце хоцещи, да скоро в *хлевину* свинии внидут, зови тако свински дважды: тако скоро входите во *свинарь*, яко же стряпчий и суди входят во ад (Великое Зерцало, с. 240, к. XVII в.).

Следует учесть и такую особенность литературно-художественного текста, заимствованную из устной народной поэзии, как синонимические повторы, цель которых — усилить эмоционально-смысловое напряжение. Слова, входящие в эти повторы, воспринимаются авторами как близкие по смыслу, и, вероятно, они были таковыми в XVII в. Например: ... Нагих розсылат по городом по низовским в *темницы* и в *заточение*. Народъ поймаша Борисова сына Федора и мать его Марию во царских *хоромах* и *полатах* (РИБ-13, с. 730, 733, «Сказ. о Гришке Отрепьеве»).

Книжная письменность Московской Руси XVI—XVII вв. дает богатый материал для анализа соотношения разговорных и книжно-письменных элементов в составе литературного языка, эволюции книжно-славянского типа языка, развития народно-литературного типа в повествовательной литературе, увеличения проницаемости границ между разновидностями литературного языка и между разговорной и литературной речью, а также для уяснения закономерностей семантико-стилистического развития русской лексики в начальный период становления норм национального выражения.

Примечания

1. Цит. по: Гольдберг А.А. О «Смертном разряде» Юрия Крижанича // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник. 1974. — М., 1975.
2. История русской литературы: в 4 т. — Л., 1980. — Т. I.
3. Мещерский Н.А. История русского литературного языка. — Л., 1981.
4. См. подробнее: Судаков Г.В. Лексика одежды в севернорусских актах XVII в. // Лексика севернорусских говоров. — Вологда, 1976.

Синонимы

в литературно-художественных текстах XVII в.

В литературном языке XVII в. наблюдается закреплённость отдельных слов за тем или иным типом контекста. В литературно-художественных текстах, например, предпочитают слова с обобщенно-абстрактным значением. Из слов же конкретно-бытовой сферы в случае необходимости избирались слова с обобщенной семантикой, способные выступать в роли какого-либо символа. Употребление того или иного слова в тексте зависело от общего словесно-семантического и стилистического фона контекста. Значения отдельных полисемантических слов были также закреплены за определенным типом контекста («контекстуально связанные значения»).

Благодаря вышеотмеченным свойствам в литературно-художественной речи были специфические ряды синонимов, свое-

образный характер носила и сама синонимия. Синонимичность, как известно, вообще более свойственна художественным текстам в отличие, например, от деловой письменности.

Слова со значением «жилая постройка» составляли следующий синонимический ряд: *чертог* — *обиталище* — *полата* — *покой* — *дом* — *жилище* — *храмина*, причем первые четыре называли преимущественно жилые постройки для царя. Все эти синонимы характеризовали обозначаемый предмет весьма обобщенно и отвлеченно, использовались одинаково активно в прозе и в поэзии, например: царицу же Марию и сына ее, царевича Федора, и дочь ея, царевну Ксению, ис царского их *дому* отведоша безчестно в прежебывшие их *жилища*... И тако вземше его из царского *покоя*, и отведоша на прежебывшая его *жилища* (Пов. Катырева-Ростовского, РИБ-13, с. 577, 602); Узреша же и *палаты* всезлатыя и *чертоги* пресветлыя прекрасныя... Внидоша же в великий *дом*, предивно убранный и украшенный, и престол в нем великий узреша. Тогда провожатый рече: «Сицевое пресветлое *жилище* и воскресное пребывание уготовано царю Рафбоду». Диякон же, видя, удивися, помышляя, кыя ради правды такое *обиталище* царю непросвещенну уготовано бысть? (Великое Зерцало, 385, к. XVII в.); в *дом* новозданный аще кто вселится, все друзи его ему приветствуют ... и дары носят от серебра и злата и хлеб да будет богата *полата* (Полоцкий, 103, Рифмологион).

Со снижением предмета изображения и общестилевой направленности контекста меняется и синонимический ряд, приближаясь к синонимии народно-разговорной речи: *дом* — *изба* — *хлевинка* — *хижица*. Некий человек, *дом* имея великий, прилучен же бе стеною ко *хлевинке* убогаго некоего работнаго человека ... дивяшеся убогаго житию, како в *хижице* своей и в толиком убогом жителстве непрестанно веселится ... Прииде же ко убогому во убогий *домик* его, вопроси жену, где есть муж ея, она же отвеща, яко муж ея зело болят и лежит во своей *хижице* (Великое Зерцало, с. 347—348, к. XVII в.); сложа с себя ризы, помоляся, пошелъ в *дом* свой зело скорбень. Время же яко полнощи, и пришед в *избу*, плакався предъ образом господним (Пустоз. сб., 1675 г.).

Факт взаимозаменяемости слов в речи одного и того же автора может свидетельствовать об их синонимичности. Как синонимы употреблялись в то время слова *тюрьма* — *темница*, *кабак* — *корчма*, например: И потом в *тюрьму* бросили, и сежю даж доньне так ... меня с товарищем моим Исаиею взяли приставы да протопоп ис *темницы* ... меня он и опять в *темницу* сослал с приставы ... потом за мною в *тюрьму* сослали, даж и ныне со мною в *тюрьме* сидит (Письмо неизвестного, 483, 1685 г., Тотма); Яко хто на *корчме* бытен пьет, всяк его хвалит в те поры, кое у него видят и пьют, а жити про собя на *кабаке* и не пити, яко в век скупому лают и хотят вси с одного ограбити, яко век около *корчмы* воры держатца... Иже прежде зовема и в древняя наша лета, *корчмо*, ныне же тайно глаголем и умильно взываем: радуйся, *кабаче*, отемнение Вычеготскому Усолюю, и ныне не токмо тя Усолие почитает (Сатира 17 в., с. 45, 47, Служба кабаку, 1666 г.).

Только в книжной речи зафиксирована синонимическая пара *баня* — *теплица*, в других разновидностях письменности отмечены *баня* — *мыльня*. Во «Временнике Ивана Тимофеева» читаем: «Но обычай бяше новобрачным ради измовения тела в *баня* входити; и но совокуплении того с своею купно з госпожею и женою вниде той предиреченной отрок в *теплицу*. Но zde страх, zde трепет! Дивно чудо содеяся тогда, внегда отрок вниде в *баню* (с. 99, 1616—1619 гг.).

Такого рода употребление взаимозаменяющихся слов в речи одного и того же автора позволяет с опорой на сознание носителей языка определенной эпохи устанавливать семантическую близость отдельных слов, например *ковчег* — *сундук*: в том *ковчеге* риза господня, а велел де тот *ковчег* Аббас шах отдать ему государю патриарху самому в руки. И государь царь и патриарх Филарет Никитич тот *сундучек* распечатали. (Сказ. о даре, с. 382).

Однако в литературно-художественных текстах встречается и контекстуальная, индивидуально-авторская синонимия, когда автор излюбленным словом, превращая его в общевидовое, заменяет любое слово той же лексико-семантической группы, см., например, в сочинениях пустозерских узников слово *хижа* (*хижи*

— *изба, хижа — темница*): Сидящу ми в *темнице* принесоша ми просвиру, вынятую со крстомъ... И на ину ношъ един бесъ в *хижу* мою вошед (Пустоз. сб., с. 70—71, Жит. Авв., 1675 г.); И нне, оче, во един от дней от труда деревеньскаго внидох в *хижу* мою и возлегъ опочинуту, и скоро отворишася двери *избы* моея, и вниде ко мне в *ызбу* муж стомпень, вес бель (Пустоз. сб., с. 116, Жит. Епифания, 1675 г.).

Слова со значением «одежда» составляют в литературно-книжной речи следующий синонимический ряд: *одежда — одеяние — риза*, см: Рабы же и рабыни удовляше пищею и *одеждою* ... рабы своя доволно пищею и *одеянием* удовляше ... егда же зима настаяше, у детей своих взымаше сребреницы, *чим* устроити теплыя *ризы* и то нищим раздаяше, а сама без теплыя *одежды* в зиму хождаше (Пов. об Улиянии, с. 278, 301).

Только для книжной речи свойственны синонимы *брашно — снедь — ядь — ястие*, например: сын потицяся взяти ово *брашне* себе. Прииде к скрову, и се иже сохранися петел на *снедь* во жабу страшну преложися (Рус. силлаб. поэзия, с. 25, С. Полоцкий «Вертоград», 1664—1680 гг.); Некий начальствуяй монастырю во сластех *брашен* различных и питий таяйся и оплываяй, всегда же бе болезнив и недужлиш. Некий епископ рече ему: «Зело удивляюся о тебе, како вольное житие твое, многия и сладкия *яди* великия и нездравие приношаху ти (Великое Зерцало, с. 334, к. XVII в.); а егда пред обедом «Отче наш» проговорю и *ястие* благословляю, так тово *брашна* и не есть — неблагословеннова просит (Пустоз. сб., 64, Жит. Авв., 1675 г.). В бытовом по содержанию и народно-разговорном по языковой основе «Сказании о роскошном житии и веселии» к слову *ядь* употреблен общелитературный синоним *яства*: А похмельным людям также готово похмельных *ядей* соленых, капусты великие чаны ... чесноку, луку и всякия похмельныя *яствы* (Сатира 17 в., с. 32).

Если в деловой письменности представлен синонимический ряд: *постель — кровать*, то книжно-литературные тексты отличаются другим набором синонимов: *ложа — постель — одр*, например: По венчанию же их посади за стол, потом повеле их вести на *ложу* спати... Ежели же в другой раз вздрогнет, то ты

сойди с *постели* и стань на мое место, а я возьмю на *одре* с нею (Пов. 17 в., с. 133, Пов. о купце).

Смена характера контекста могла осуществляться внутри одного произведения, что свидетельствовало о книжной искушенности автора. Покажем это на нескольких примерах: Приехавшу же в дом своим и *нача вечеряти в дому* ... Он же пристрашен бысть и, тек, *внесе той обретенный образ в хижу* свою (Пов. о явлении, с. 142, посл. четв. 17 в., Мезень); И *начаша* угождати богови ... *учреждая* по суботам и воскресным дням *трапезы в дому* своем... *Приятнее богу молитва* быть в церкви, аки у себя в *храмине* (Пов. об Иулиании, с. 418); *душа*, отче мой Епифаний, *брашна* *духовнаго* *желает*; не *глад* хлеба, ни жажда воды *погубляет человека* (Изборник, с. 654, Ж. пр. Авв., ок. 1673 г.). Изменение ситуации или переход к описанию другого предмета вызвал изменение всего лексико-семантического фона контекста, в частности ср. употребление слов *дом* — *хижа*, *дом* — *храмина*, *брашно* — *хлеб*. В «Сказании о даре шаха Аббаса России» обращают на себя внимание два отрывка, рассказывающие об одном и том же с помощью разных языковых средств: а) официальная ситуация дипломатического приема: посол Урусамбек поднес к великому государю святейшему патриарху Филарету Никитичю московскому и всея Руси *ковчег* *золот* с каменiem драгим, а сказал, что *в том ковчеге риза господня*; б) передача рассказа купца: дал де ему Аббас шах *сундучек* за своею печатаю, а *в сундучке* *сказал ему Христову срачицу* (Сказ. о даре, с. 382).

Под влиянием фольклора в литературно-художественной речи стали употребляться синонимические повторы, цель которых — усилить эмоционально-смысловое напряжение. Слова, входящие в эти повторы, воспринимались авторами в качестве смысловых дублетов и, вероятно, были таковыми в языке XVII в. Например: Борис отца царицына Федора Нагово и иных Нагих, Афонасия и Андрея и Семена, *розсылает по городом по низовским в темницы и в заточение*; народъ ... *поимаша Борисова сына Федора и мать его Марию во царских хоромах и полатях*; *вниде во царские хоромы и полаты* и пребывая в них (РИБ-13, с. 715, 730, 733, Сказ. о Гришке Отрепьеве); О стол крепкий и

непоколебимый! О по бозе и пречистой его матери крепкая *стена и забрало!* (Новая повесть, с. 202, 1610—1611 гг.); И святая было места ему осквернити, иноческая монастыри в *дома и в жилища* поганцом сотворити (Пов. како отомсти, с. 249, 1606 г.); *Червленицы и багряницы* царские дивно есть зрети (Савватий, с. 14, вторая пол. 17 в.).

Как смысловые соответствия, взаимозаменяющие друг друга в тексте, употреблялись родовые и видовые наименования. Думается, дело здесь не только в стремлении к лексическому разнообразию, но и в столкновении книжной тенденции к обобщенному названию предмета с тяготением к конкретизации и смысловой точности, свойственной разговорной речи. Ср.: С волками—кто видал? — агнцы коли водворяются во един *овчарник*? И на поле от волка бегает овца, а в одном *хлеве* и один волчищо сотню ягнят передавит (РИБ—39, с. 822, Аввакум); ... некий пастырь свинии во *хлевицу* загоняя и никакже загнати можаше. И некто подруг же рече: «Аще хоцещи, да скоро и *хлевицу* свинии внидут, зови тако свински дважды: тако скоро входите во *свинарь*, яко же стряпчий и судии входят во ад». Сие же точию пастух изрек, абие во *свинарь* вскочиша (Великое Зерцало, 240).

Широко распространена в анализируемых текстах синонимия составных и однословных наименований (*богадельная изба* — *богадельня*, *темная полата* — *темница* и др. Наблюдается синонимия составных наименований и описательных выражений, косвенно свидетельствующая об отсутствии в языке той поры соответствующих однословных именовании, см.: и в год его царского обеда дверем сущим отверстием *полаты тоя, идеже кушал*, всякому внити невозбранно повелевая, тогда во множестве оных в *столовую* ону *полату* вниде Мартин Лютор (Великое Зерцало, 40).

В литературно-художественных текстах встретились именовании специальных помещений для сна: *ложница* — *постельная хранина* — *постельная*, преобладало среди них слово *ложница*; в других разновидностях письменной речи XVII в. эти слова не отмечены. Неупорядоченное употребление этих наименований позволяет говорить об активном процессе поисков и закрепления в языке однословного наименования, продолжавшемся, вероятно,

до появления слова *спальня*. См. примеры: *сediaшу* ему в *ложницy* и внезапно ... *падъ* издше (РИБ-13, с. 864, Пов. Шаховского); царю же в *постелной* своей *храмине* *сediaшу*, и внезапно случися ему смерть (РИБ-13, с. 574, Пов. Катырева-Ростовского); И се Иоаким, архимарит Чудова монастыря, *грядше* с великою гордостью и *вниде* в *постелную* и *видев* ю *возлежашу* (Пов. о Морозовой, с. 134).

Таким образом, наблюдения показывают большую развитость синонимии на самых различных уровнях в литературно-художественных текстах XVII в. Контекстуальная обусловленность употребления слов определяет своеобразный объем синонимических рядов в этих текстах в отличие от других разновидностей литературно-письменной речи. Синонимическое употребление слов в речи одного и того же автора позволяет с опорой на сознание носителей языка той эпохи уточнять лексическое значение отдельных слов. Уже в XVII в. художественная литература начинает все чаще выступать в качестве лаборатории семантикостилистических проб и экспериментов, усиливая свое активное влияние на складывающуюся норму национального выражения.

Источники

- Былины — Былины в записях и пересказах XVII–XVIII веков. — М.; Л., 1960.
- Великое Зерцало — *Державина* О.А. «Великое Зерцало» и его судьба на русской почве. — М., 1965.
- Воин. повести — Воинские повести Древней Руси. — М.; Л., 1949.
- Вр. Тимофеева — Временник Ивана Тимофеева. — М.; Л., 1951.
- Документ. сказ. о даре — *Гухман* С.Н. «Документальное сказание о даре шаха Аббаса России // ТОДРА. — Л., 1974. — Т. 28.
- Ж. пр. Авв. — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и др. его соч. — М., 1960.
- Жит. Серапиона — *Моисеева* Г.Н. Житие новгородского архиепископа Серапиона // ТОДРА. — М.; Л., 1965. — Т. 21.
- Изборник — «Изборник» (Сб. произведений литературы Древней Руси). — М., 1969.
- ЛЗАК — Летопись занятий Археографической комиссии за 1905 г. — М., 1907. — Вып. XVIII.
- Новая повесть — *Дробленкова* Н.Ф. Новая повесть о преславном Российском царстве и современная ей агитационная патриотическая письменность. — М.; Л., 1960.

- Письмо неизвестного — *Сарафанова Н.С.* Письмо неизвестного лица из заточения 1685 г. // ТОДРА. — М.; Л., 1960. — Т. 16.
- Пов. како отомсти — *Буранов В.И.* и др. «Повесть како отомсти» — памятник ранней публицистики Смутного времени // ТОДРА. — Л., 1974. — Т. 28.
- Пов. об Иулиании — *Тагунова В.И.* Муромские списки «Повести об Иулиании Азаревской» // ТОДРА. — М.; Л., 1961. — Т. 17.
- Пов. об Улиянии — *Скрипиль М.О.* Повесть об Улиянии Осорьиной (комментарий и тексты) // ТОДРА. — М.; Л., 1948. — Т. 6.
- Пов. о Морозовой — Повесть о боярыне Морозовой. — Л., 1977.
- Пов. XVII в. — Русская повесть XVII века / Сост. М.О. Скрипиль. — М., 1954.
- Пов. о Щиле — *Еремин И.П.* Из истории старинной русской повести. Повесть о посаднике Щиле. (Исследования и тексты) // Тр. комиссии по древнерусской литературе. — Л., 1932. — Т. I.
- Пов. о явлении — *Волкова Т.Ф.* Вновь найденная повесть XVII в. о мезенской иконе Троицы // Рукописное наследие Древней Руси (по материалам Пушкинского Дома). — Л., 1972.
- Полоцкий — *Полоцкий Симеон.* Избранные сочинения. — М.; Л., 1963.
- Пустоз. сб. — Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. — Л., 1975.
- РИБ-13 — Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени. — СПб., 1909 (Рус. истор. б-ка. Т. 13).
- РИБ-39 — Памятники истории старообрядчества XVII в. — Л., 1927 (Рус. истор. б-ка. Т. 39). — Кн. I. — Вып. I.
- Рус. силаб. поэзия — Русская силлабическая поэзия XVII—XVIII вв. — Л., 1970.
- Савватий — *Шентаев А.С.* Стихи справщика Савватия // ТОДРА. — М.; Л., 1965. — Т. 21.
- Сатира 17 в. — Русская демократическая сатира XVII в. — М., 1977.
- Сб. пословиц 17 в. — *Дмитриев Л.А.* Отрывок сборника пословиц XVII в. // Рукописное наследие Древней Руси (по материалам Пушкинского Дома). — Л., 1972.
- Сказ. о даре — *Гухман С.Н.* Соловецкая редакция «Документального сказания о даре шаха Аббаса России» // ТОДРА. — Л., 1974. — Т. 28.
- Сказ. про Бову — Памятники древней письменности. — СПб., 1879. — С. 44—79.
- СЛРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. — М., 1973. — Т. 1. — (издание продолжается).
- ТОДРА — Труды отдела древнерусской литературы Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. — М.; Л., 1964—1980. — Т. XVI—XXXI.
- Три соч. Авв. — *Мальшиев В.И.* Три неизвестных сочинения протопопа Аввакума и новые документы о нем // Доклады и сообщения филологического факультета ЛГУ. — Л., 1951. — Вып. 3. — С. 255—266.

Последней по времени создания и наиболее основательной филологической работой М.В. Ломоносова является научный трактат «О пользе книг церковных в российском языке» (опубликован в начале первого тома «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе г. коллежского советника и профессора Михаила Ломоносова», вышедшего в свет в 1758 г.) [1]. Автор сам указал его жанр — *предисловие*. Так называли в то время научные сочинения на наиболее важные темы. Указанием на жанр ученый стремился подчеркнуть принципиальную важность этого труда среди других своих сочинений.

Некоторые видят в работе М.В. Ломоносова лишь изложение теории «трех штилей» [2: 199], другие усматривают попытку разграничения стилей классификации литературных жанров [3: 894], третьи — программную концепцию, содержащую принципы формирования русского литературного языка [4: 141]. Нам видится содержание этого сочинения более значительным, во многом предвосхитившим лингвистические идеи не только девятнадцатого, но и двадцатого столетия.

Предисловие состоит из четырех частей: 1) история возникновения литературно-письменного языка у славян; 2) структура русского литературного языка в современную (для Ломоносова) эпоху, т. е. в XVIII в.; 3) значение церковнославянского наследия для русского языка в процессе его исторического развития; 4) «польза» церковнославянского наследия для русского литературного языка XVIII в., для художественного творчества, для индивидуальной речи каждого.

Итак, предисловие начинается с исторического очерка о происхождении «славянского» письменного языка. Вначале говорится о роли письменности в развитии «славянского» языка и о положительном отличии языка с письменностью от языка, не имеющего письменности: «... мысли ... тогда были тесно ограничены, для неведения многих вещей и действий, ученым народам известных; тогда и язык его (славянского народа. — Г.С.) не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне чита-

ем» [1: 587]. По мысли Ломоносова, письменный язык от бесписьменного отличается прежде всего объемом и составом лексикона.

Главная идея первой части — исторически сложившееся положительное взаимодействие старославянского и русского языков. Не случайно именно эту мысль из работы Ломоносова 1758 г. повторил Пушкин в 1825 г., ср.: М.В. Ломоносов — «Ясно сие видеть можно вникнувшим в книги церковные на славенском языке, коль много мы от переводу ветхого и нового завета, поучений отеческих, духовных песней Дамаскиновых и других творцов канонов видим в славенском языке греческого изобилия и оттуду умножаем довольство российского слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот посредством славенского сродно» [1: 587]; А.С. Пушкин — «... язык славяно-русский имеет неоспоримое превосходство пред всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI в. древний греческий язык вдруг открыл свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность» [5: 18]. Как видим, здесь подчеркнуто и значение письменных переводов Библии с греческого на «славенский», таким путем происходило усвоение «отменной красоты, изобилия, важности и силы эллинского слова», «греческих красот». При этом старославянский язык выступил восприемником и передатчиком греческой культуры слова русскому языку.

Заканчивается первая часть мыслью о благоприятных условиях формирования русского литературного языка по сравнению с польским и немецким, на которые оказывал влияние чужой язык, причем в плохом варианте — вульгарная латынь.

Обратим внимание на терминологию, используемую Ломоносовым при именовании трех разных языков: греческий язык (эллинское слово, эллинский язык) — славенский язык — российское слово. И далее по всему тексту сочинения последовательно славенский язык и русский язык различаются. Здесь умест-

но вспомнить черновой отзыв Ломоносова 1764 г. о плане работ А.А. Шлецера: «... речи, в российских летописях находящиеся, разнятся от древнего моравского языка, на который переведено прежде священное писание. Ибо тогда российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых российских князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, «Правда Русская» называемые» [6: 704].

Вторая часть трактата характеризует структуру русского литературного языка. Обратим особое внимание на употребляемые термины и их смысл.

Состав литературного языка описан так: «Как материи, которые словом человеческим изображаются, различествуют по мере разной своей важности, так и российский язык чрез употребление книг церковных *по приличности* (выделено нами. — Г.С.; далее Ломоносов будет использовать выражение «*рассудительное употребление и разбор*») имеет разные степени: высокий, посредственный и низкий. Сие происходит от трех родов речений».

Почему здесь употреблено слово «*степени (языка)*», а не «*штиль*», как увидим далее? Представляется, что для нашего автора это вообще разные понятия: 1) *степени языка* возникают на основе исторически сложившихся «трех родов речений» и отличаются друг от друга разной мерой употребления церковнославянского элемента («чрез употребление книг церковных»); *степени языка* существуют объективно — в нашем современном понимании это функциональные стили языка; 2) *штиль*, о которых речь пойдет далее, — это стили речи. Поэтому разные *степени* российский язык *имеет*, а *три штиля рождаются от рассудительного употребления и разбор* сих трех родов речений. Выражаясь по-современному, языковой стиль в процессе употребления реализуется в конкретных речевых стилях. Кстати, в других работах Ломоносова речевых стилей упоминается еще больше, поскольку анализ речевых жанров там не ограничивается художественной речью; так, в «Кратком руководстве к риторике» описываются указательный, советовательный и судебный роды речей, а в подготовительных материалах к «Российской грамматике» предлага-

ются тексты «разделить на риторической, на пиитической, исторической, дидактической, простой» [1: 608].

Далее во второй части описываются три «рода речений», т. е. три группы лексики, входящие в состав литературных средств активного употребления; это описание общеизвестно, поэтому обойдемся без цитаты. Попутно Ломоносов называет еще две группы, которые «выключаются» из литературного языка, так как их «ни в каком штиле употребить не пристойно»: 1) «неупотребительные и весьма обветшалые», 2) «презренные слова». К этому чрезвычайно важному выводу мы еще вернемся, а пока выясним, на основе каких критериев выделены Ломоносовым пять групп лексики. Г.П. Блок и В.Н. Макеева увидели два признака: «по принадлежности слова к русскому или церковнославянскому языку и по степени употребительности слова» [3: 895]; В.П. Вомперский учитывает три признака: 1) «пристойность», т. е. соответствие их «материям», теме повествования или рассуждения; 2) степень употребительности в разных сферах речевого общения; 3) понятность [2: 143]. На наш взгляд, перечень свойств, учтенных Ломоносовым при классификации лексики, должен быть таким: 1) происхождение (или представленность в славянских языках); 2) время употребления («которые у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны»; 3) сфера употребления (письменное или разговорное); 4) частота употребления («кои обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны»); 5) эмоционально-экспрессивная окраска («презренные слова, которые ни в каком штиле употребить не пристойно, как только в подлых комедиях»). Первые подходы к такой многосторонней характеристике лексики замечаем уже в «Кратком руководстве к красноречию», хотя первоначально они были весьма лаконичны, ср.: «... кто хочет говорить красно, тому надлежит сперва говорить чисто и иметь довольно пристойных и избранных речений к изображению своих мыслей» [1: 176]. Приведем и одно место из «Краткого руководства к риторике», где речь идет о «духовном слове»: «... проповеднику стараться должно, чтобы при важности и великолепии своем слово было каждому понятно и вразумительно. И для того надлежит убеждать старых и

неупотребительных славенских речений, которых народ не разумеет, но при том не оставлять оных, которые хотя в простых разговорах неупотребительны, однако знаменование их народу известно» [1: 69].

Теперь вспомним, что в предисловии ученый разделил лексику на относящуюся к «штилям», т. е. литературную, и не входящую в «штили», т. е. не включаемую в состав литературных средств. За этим скрывается впервые замеченное именно Ломоносовым различие между литературным языком и «нелитературной» частью общенародного языка. А при характеристике «презренных слов», которые в «штилях» употреблять «непристойно», но можно в «подлых комедиях», Ломоносов по сути дела проводит различие между литературным языком с его жесткими нормами, с одной стороны, и свободной художественной речью, с другой стороны. Об этом открытии великого филолога уже писал В.П. Вомперский: «... состав языковых средств «простого штиля» отличается двойственной природой: в нем объединяются слова и формы, обладающие понятием литературно-обработанной речи, и слова, находящиеся за пределами образцовой нормы» [2: 148].

Самое существенное, на наш взгляд, в стилистической концепции Ломоносова — это «рассудительное употребление и разбор сих трех родов речений» как принцип создания литературного текста, текст же может относиться к одному из трех «штилей»: «От рассудительного употребления и разбору сих трех родов речений рождаются три штиля: высокий, посредственный и низкий» [1: 589]. Эта идея повторена в работе многократно, что подтверждает ее приоритетность и для Ломоносова. Так, при характеристике среднего штиля она упоминается трижды (далее в цитатах выделено нами): «можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, **однако с великою осторожностью**»; «употребить в нем можно низкие слова, **однако остерегаться**, чтобы не опуститься в подлость»; «в сем штиле **должно наблюдать всевозможную равность**» [1: 589]. Идеей «рассудительного употребления и разбору» автор утверждает право выбора языковых средств создателем текста, открывает возможность для индивидуального творчества. Индивидуально-

авторское начало в речевом творчестве — это обязательная черта именно национального периода в истории литературного языка. Выходит, Ломоносов осознал это новое состояние языка и удивительно точно и глубоко характеризовал языковую ситуацию в России середины XVIII в. Кстати, сам классик умело пользовался изобретенной им идеей, что отметил еще А.С. Пушкин: «Слог его, ровный, цветущий и живописный, занимает главное достоинство от глубокого знания книжного славянского языка и от счастливого слияния оного с языком простонародным» [5: 19].

В этой же второй части находим описание системы «штилей». Они характеризуются по двум основаниям: 1) по соотношению лексических средств разного происхождения в тексте; 2) по набору жанров, связанных с конкретным «штилем». Такое многоаспектное описание стилей, основанное на идее синтеза традиционно-книжных элементов и простонародных средств, современники оценили не сразу, но именно благодаря этой многоаспектности к авторитету Ломоносова могли апеллировать как консервативно настроенный Шишков, так и Макаров, объявлявший Ломоносова предшественником Карамзина (см. подробно: [7: 352]).

В стилевой структуре литературного языка, в приемах создания текста роль старокнижных традиций была весьма значима, но не являлась единственно определяющей. Поэтому только при описании высокого стиля подчеркнуто, что его отличительной приметой является употребление славянизмов, «россиянам вразумительных и не весьма обветшалых», что «сим штилем преимуществует российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных» [1: 589].

Однако короткий ответ — лишь начало пространного рассуждения о пользе церковнославянского наследия для русского языка в его историческом развитии. Вот весь перечень этих преимуществ:

1) церковнославянский язык стал сокровищницей языковых средств для «сильного изображения идей важных и высоких», причем в эту сокровищницу включается не только лексика, подробно охарактеризованная при описании «штилей», но и грамма-

тика, см. специальный абзац в работе о стилистической роли причастий и деепричастий: «Сколько в высокой поэзии служат одним предложением славянским сокращенные мысли, как причастиями и деепричастиями, в обыкновенном русском языке неупотребительными, то всяк чувствовать может, кто в сочинении стихов испытал свои силы» [1: 590]. Известно, что стилистические ресурсы грамматики были подробно охарактеризованы в «Русской грамматике» (см. подробно в работе [8: 211—234]);

2) благодаря старокнижной традиции сохраняется территориальное единство русского языка: «Народ российский, по великому пространству обитающий, не взирая на дальное расстояние, говорит повсюду вразумительным языком в городах и в селах»;

3) благодаря употреблению «славянских книг церковных» сохраняется лексическая и структурная близость славянских языков: «... однако для употребления славянских книг церковных, говорят языком, россиянам довольно вразумительным»;

4) благодаря непрерывности книжной традиции сохраняется тождество русского языка в течение всего исторического периода: «... российский язык от владения Владимирова до нынешнего века, больше семисот лет, не столько отменился, чтобы старого разуместь не можно было» [1: 590].

Переходим к последней части рассуждения: в чем польза церковнославянского наследия для русского языка XVIII в. в целом и для речи отдельного его носителя в частности? М.В. Ломоносов советует любителям отечественного слова прилежно читать «все церковные книги, от чего к общей и к собственной пользе воспоследует» (далее перескажем современным слогом, сохраняя нумерацию автора): 1) пополнятся средства для возвышения великолепных мыслей; 2) сформируется критерий для отграничения высоких слов от «подлых», причем, «наблюдая равность слога», автор сам должен производить отбор; 3) «старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славянского языка купно с российским» определится критерий для отбора иноязычных заимствований.

Кстати, обратим внимание на присутствие и здесь принципа «рассудительного употребления и разбору».

Заключительные мысли классика содержат также многозначительные признания. Так, он предупреждает, что с падением природного языка, «без искусных в нем писателей немало затмится слава всего народа», «из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев». Не идея ли связи этноса — языка — литературы утверждается в этих словах?!

Здесь же классик утверждает: «Словесные науки не дадут никогда прийти в упадок российскому слову» [1: 592], чем и заканчивает характеристику комплекса из трех взаимодействующих и взаимоподдерживающих элементов: родной язык — литература на этом языке — словесные науки, их изучающие.

Таким образом, предисловие М.В. Ломоносова «О пользе книг церковных в российском языке» содержит впервые выполненную осмысленную развернутую оценку нового, национального состояния русского языка середины XVIII в. В этом главное значение гениального сочинения. Характеризуя новые явления в составе литературного языка, новые отношения его с живой речью и старокнижной традицией, зависимость от практики художественной речи, автор также впервые в истории русского языкознания говорит о важности «словесных наук» для развития «российского слога». Оформление «словесных наук» — это признание более осознанного отношения общества к языку, что, в свою очередь, является важнейшим признаком именно национального состояния языка.

Примечания

1. Цитаты из данного текста и других филологических работ М.В. Ломоносова приводятся по изданию: *Ломоносов М.В. Полн. собр. соч.* в 10 т. — М.; Л., 1952. — Т. 7. Труды по филологии. 1739—1758 гг.
2. *Вомперский В.П.* Риторика в России XVII—XVIII вв. — М., 1988.
3. *Блок Г.А., Макеева В.И.* Приложения // *Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений.* — М.; Л., 1952. — Т. 7.
4. *Успенский Б.А.* Краткий очерк истории русского литературного языка (XI—XIX вв.). — М., 1994.
5. *Пушкин А.С.* О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.В. Крылова // *Пушкин А.С. Собр. соч.* в 10 т. — М., 1981. — Т. VI.

6. Билярский П. С. Материалы для биографии Ломоносова. — СПб., 1865.
7. Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской литературы // Успенский Б.А. Избранные труды. — М., 1994. — Т. 2.
8. Виноградов В.В. Проблемы стилистики русского языка в трудах М.В. Ломоносова // Виноградов В.В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. — М., 1963.

Литературно-языковые проблемы русской словесности XIX—XX вв.

Батюшков о языковых проблемах своего времени

Традиционно Батюшков считается сентименталистом, одним из идеологов «нового слога». В сатире «Певец, или Певцы в Беседе славенороссов» (1813) он кратко и точно определил кредо этой школы: «Кто пишет так, как говорит, Кого читают дамы!» (Батюшков К.Н. Сочинения: В 2 т. — М., 1989 — Т. 1. — С. 393. Далее — только том и стр.).

Считают, что Батюшков — один из поэтических наставников Пушкина — им же и был заслонен. Но кое в чем Батюшков предвосхитил гениального поэта. Это Батюшков уже в 1805 г. назвал девятнадцатое столетие «железным веком». Он первым проанализировал свой жизненный опыт как социально-историческую трагедию «лишнего человека» и первый описал раздвоенность человеческого существа: в нем два человека, один белый, другой черный, «оба человека живут в одном теле» («Чужое: мое сокровище!»). Уже в начале XIX в. он заметил в Москве черты «проклятого города»:

В ней честность с счастьем всегда почти бранится,
Порок здесь царствует, порок здесь властелин,
Он в лентах, в орденах повсюду ясно зрится,
Забыта честность, но фортуны милый сын,
Хоть плут, глупец, злодей, в богатстве утопает...

«Перевод 1-й сатиры Боало» (1, 345).

Батюшков был независим в своих суждениях и оценках, его сознание мало зависело от общественного мнения. Он благоразумно удалялся от света в свое вологодское поместье и здесь мыслил и творил совершенно свободно. Его мнение было равно авторитетно для шишковистов и карамзинистов. Языковые позиции Батюшкова легче выяснять в сравнении со взглядами Пушкина или в оценках Пушкина.

В 1814—1815 гг. юный Пушкин находился под сильным влиянием поэзии Батюшкова. В послании «К Батюшкову» (1814) он называет поэтического собрата «российским Парни», отмечает классическую стройность и гармоничность стиха: «... тебя молодой Назон, / Эрот и грации венчали, / А лиру строил Аполлон». Еще более полная характеристика батюшковской лиры дается в стихотворении «Тень Фонвизина» (1815). В «Городке», написанном в подражание «Моим пенатам» Батюшкова, снова упоминается Батюшков — «насмешник смелый».

Но в послании «Батюшкову» (1815) молодой поэт заявляет своему учителю: «Бреду своим путем: / *Будь всякий при своем*». Это выражение — цитата из послания Жуковского Батюшкову.

Однако Батюшков остается высшим авторитетом для Пушкина и позже. В 1828 г., возражая критику журнала «Атеней», упрекавшему Пушкина в неправильном употреблении формы род. п. множ. ч. от слова *время*, поэт цитатой из «Моих пенатов» Батюшкова доказывал, что в русском языке употребляются две формы: *времен и времена*.

Основная дискуссия начала XIX в. — полемика между карамзинистами и шишковистами о путях развития литературного языка. Творцы «нового слога» заявили себя как западники, шишковисты выступали со славянофильских позиций. Но реальное содержание дискуссии было богаче этой идеологической оппозиции. Отношение к старославянской традиции и народной словесности, к разговорной речи и западноевропейским заимствованиям, а также статус «легкой поэзии», судьба одического жанра, проблема языка науки — вот перечень тем, обсуждавшихся в литературных журналах.

Какова же позиция наших классиков в филологической полемике века?

Оба поэта считали, что в основе языковой эволюции — идея прогресса, зависимости языка от истории этноса: «... язык идет всегда наравне с успехами оружия и славы народной, с просвещением, с нуждами общества, с гражданскою образованностию...» (Батюшков. «Речь о влиянии легкой поэзии на язык»). Аналогичные идеи высказывает и Пушкин в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова» (1825).

В «Видении на берегах Леты» (1809) Батюшков иронично оценивает претензии авторов начала XIX в. на долгую память у соотечественников. Забвения заслуживают, по его мнению, и «с Невы поэты росски» (деятели «Беседы»), и «лица новы / Из белокаменной Москвы» (карамзинисты). Зато высоко оценил заслуги Крылова (ср. еще в письме Гнедичу от 17 августа 1816 г.: «Его басни переживут века» — 2, 399), гений которого был бесспорен и для Пушкина. Батюшков воздал здесь должное трудолюбию Шишкова, а Пушкин, в свою очередь, заботился о переизданиях трудов старейшины архаистов.

Оба поэта — каждый порознь — замыслили обзорный труд по истории русской словесности, но успели только написать план задуманного сочинения. Батюшков собирался начать с эпохи создания славянской письменности, с первого перевода Библии на старославянский («славенский») язык, с установления различий между «славенским» и русским языками. Затем предполагалось показать влияние княжеских раздоров и татарщины, а в эпоху Петра — кризис проповеднической литературы на церковнославянском языке и активизацию переводческой деятельности. Любопытно, что в упомянутом нами отклике Пушкина на предисловие Лемонте конспективно охарактеризованы именно эти периоды.

Особо отмечается выдающаяся роль талантливых авторов в становлении национального литературного языка: «Великие писатели образуют язык; они дают ему некоторое направление, они оставляют на нем неизгладимую печать своего гения...» (Батюшков. «Ариост и Тасс»). В автографе рукописи о книге по истории

русской словесности возле имени Ломоносова Батюшков нарисовал солнце в лучах — такова выразительная оценка исключительного значения этого писателя в развитии отечественной литературы. Значение деятельности Ломоносова оба поэта характеризуют почти в одинаковых выражениях: «Он преобразовал язык наш, созида образцы во всех родах ... он создал ему красноречие и стихотворство... Сей великий образователь нашей словесности знал и чувствовал, что язык просвещенного народа должен удовлетворять всем его требованиям и состоять не из одних высокопарных слов и выражений» (Батюшков. «Речь о влиянии легкой поэзии на язык»); «Ломоносов утверждает правила общественного языка, дает законы и образцы классического красноречия ... открывает нам истинные источники нашего поэтического языка» (Пушкин. «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова»).

В процессе непрерывного развития русского языка и словесности, по мысли Батюшкова, обозначаются четыре сквозные проблемы: «действие иностранных языков на наш язык», эволюция лирической поэзии, воздействие философии и науки, «влияние церковного языка на гражданский и гражданского на духовное красноречие» (2, 44). Кстати, и Пушкин в своих планах создания истории словесности предполагал объединить два принципа изложения материала: хронологический и проблемный.

Интересно, что отношение к церковнославянскому наследию у этих авторов практически не менялось в течение их творческой жизни: не отрицая роли славянизмов, они стремились соблюсти середину — «подвиг воистину трудный!», как выразился Батюшков в письме к Н.И. Гнедичу 19 сентября 1809 г. Оба обратили внимание на непонятность церковнославянского языка для современников, на важность отбора поэтически выразительного непосредственно из библейских текстов. Именовали они архаистов тоже одинаково: «варварами» и «варягами», а слог их называли «варварским» и «варяжским».

Пространное изложение взглядов Батюшкова на старославянский язык содержится в письме Гнедичу от 28—29 октября 1816 г. в связи с реакцией поэта на «Рассуждение о славянских диалектах» М.Т. Каченовского. Каченовский утверждал, что чистый

старославянский язык вообще не существовал. Возражая ему, Батюшков пишет: «... каков Шишков с партией? Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары! они исказили язык наш славенщизною!». Не насыщение текста сверх меры архаикой, а «верх искусства — похищать древние слова и давать им место в нашем языке». Далее была выражена, причем впервые в XIX в., потребность в переводе Библии на живой русский язык: «Когда переведут Священное Писание на язык человеческий?» (2, 410).

Язык литературы подвижен и изменчив, поэтому объединение разнородных элементов в тексте должно производить, по мысли Пушкина, по принципу «соразмерности и сообразности» (1828). Сравним изложение той же мысли у Батюшкова в статье «Ариост и Тасс» (1815) с помощью прекрасных стихов Ломоносова, где Батюшков подчеркивает несколько слов:

Иный, от сильного удара убегая,
Стремглав на низ слетел и *стонет* под конем;
Иный пронзен, *угас*, противника сражая;
Иный врага поверг и *умер* сам на нем.

Заметим мимоходом для стихотворцев, какую силу получают самые обыкновенные слова, когда они поставлены на своем месте» (1, 127).

Необходимыми качествами поэтического языка Батюшков считал мягкость, гармонию, музыкальность, и эти особенности батюшковского слога Пушкин объяснял влиянием французского поэта Парни. Любимый труд Батюшкова — элегия «Таврида» была высоко оценена Пушкиным: «По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова». А вот какие строки этой элегии Пушкин считал образцовыми:

Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши злаки,

Иль, урну хладную вращая, Водолей
Валит шумящий дождь, седой туман и мраки.

Каковы же, по мнению обоих поэтов, главные источники развития литературного языка и кладези поэтического вдохновения?

Первое — это фольклор: «Мы, русские, имеем народные песни: в них дышит нежность, красноречие сердца; в них видна сия задумчивость, тихая и глубокая, которая дает неизъяснимую прелесть и самым грубым произведениям северной музыки» (Батюшков. «Вечер у Кантемира», 1816); «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка» (Пушкин. «Опровержение на критики», 1830).

Второй источник — разговорная речь: «Я первый осмелился писать так, как говорят; я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянские, чужестранные, не свойственные языку русскому...» (Батюшков. «Вечер у Кантемира»); «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному» (Пушкин. «О поэтическом слоге», 1828). С учетом свойств народной речи отбираются в текст выразительные церковнославянизмы и заимствования, изгоняются обветшалые и маловыразительные элементы.

О фольклорных элементах в творчестве Пушкина написано много. И Батюшков собирался писать о Рюрике («он сидит у меня в голове и в сердце»), входила в его творческие планы обработка русских сказок («когда-нибудь и за это возьмусь»), на материале исторических преданий и народной поэзии он составил план поэмы «Русалка», но не успел ее написать (2, 438, 439, 56–58). В письмах друзьям он с удовольствием использует пословицы и диалектные речения.

Поэт строго относился к показному патриотизму и осудил его в сатире «Истинный патриот»:

«О хлеб-соль русская! о прадед Филарет!
О милые останки,
Упрямство дедушки и фережи прабабки!

Без вас спасенья нет!
А вы, а вы забыты нами!» —
Вчера горланил Фирс с гостями
И, сидя у меня за лакомым столом,
В восторге пламенном, как истый витязь русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он,
А там ... подвинул стул и сел играть в бостон.
(1, 382).

Батюшков не одобрял и другой крайности, которой грешили авторы «нового слога» — воспевание кладбищ, мавзолеев, Зюльмисы и Хлои, голубков и овечек, о чем он иронично писал в «Видении на берегах Леты».

Объем литературного языка, как и сферы его употребления, наши классики представляли шире, чем их современники. Уже в 1814 г. Батюшков отмечает неразработанность научно-популярной прозы («Прогулка в Академию художеств»), а вот мнение о том же Пушкина: «Ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует...» («О причинах, замедливших ход нашей словесности», 1824). Здесь же ученик дал оценку и своему учителю: «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое, что Петрарка для итальянского...».

Взгляды Батюшкова на состояние языка и словесности своего времени — это микромодель поэтической концепции Пушкина: совпадают перечень проблем и даже содержание конкретных рассуждений. Единственно, что не успел сделать Батюшков, — дать образцы нового литературного языка во всех жанрах литературы. Но и то, что успел, позволило И.С. Тургеневу сказать в 1880 г. при открытии памятника А.С. Пушкину похвальные слова пушкинскому предтече: «Батюшков смутно предчувствовал, что иные его стихи и обороты будут называться пушкинскими, хотя и явились раньше пушкинских».

Как поэт, Батюшков был близок к пушкинской мере идеального. Об этом свидетельствуют замечания самого Пушкина на

вторую часть «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова (1817). Этот разбор Пушкин проводил для себя, публиковать его не собирался. Всего он рассмотрел 48 произведений: 11 стихотворений признал неудачными, в восемнадцати оценил отдельные строчки, зато 19 признаны лучшими сочинениями: «прелесть»; «прелесть и совершенство»; «прекрасно»; «замечательно»; «превосходно»; «одно из лучших».

Таков спектр пушкинских оценок стихов Батюшкова. Общий итог — в пользу поэтического наставника и учителя в вопросах филологии.

У истоков публичного общения в России

Речевая коммуникация есть вид общения, обмен сведениями, идеями, информацией с помощью средств, форм и приемов естественного языка. Каждой эпохе присущи свои особенности во взаимодействии людей с помощью речи, так как цивилизация постоянно рождает новые средства и формы коммуникации, в частности в сфере массовой коммуникации.

Что в этой связи было актуально в языковой ситуации, сложившейся в России в 1812 г., какие формы речевого общения, какие жанры письменной и устной речи являлись особенно популярными? На каком языке общалась с народом власть, каким слогом взывали к патриотическому чувству солдат кутузовские полководцы?

Общеизвестно, что вторжение французской армии в Россию в 1812 г. вызвало острую, неоднозначную реакцию в дворянском обществе. Для простого народа француз, как интервент, был врагом с самого начала. А вот для дворян с последней четверти XVIII в. все французское: формы бытовой культуры, литература и искусство, язык — было образцом для подражания. Модным считалось не только говорить, но и думать по-французски. В городской усадьбе и сельском поместье функционировали два сословных языка: французский — для господ, русский — для простолюдинов. Война прояснила очевидную вещь: «с высшим состоянием хотя

они (французы. — Г.С.) и сблизилась, будучи то дядьками, то учителями, но высшее состояние в России — еще не целая Россия» [1].

Вторжение Наполеона, связанные с этим бедствия, а особенно бесчинства его солдат в Москве в период со 2 сентября по 11 октября 1812 г. поставили под сомнение галломанские идеалы высшего общества. Забегая вперед, заметим, что война не слишком помешала галломанским увлечениям дворянства. Прав оказался Ф.Н. Глинка, пророчески записавший в своем дневнике 7 ноября 1812 г.: «Кто знает, может быть, эти выморозки поправятся, и наши расхватают их по рукам — в учителя, не дав им даже и очеловечиться» [2]. Уже 19 января 1814 г. граф Ростопчин писал императору Александру: «Мания к французам не прошла в России» [3: 90].

Для речевой ситуации 1812 г. наиболее актуальным было явление, замеченное и охарактеризованное В.Г. Белинским: «12-й год способствовал зарождению публичности как началу общественного мнения» [4]. Само время обострило проблему формирования эффективных средств публичного общения, фактически тогда и возникла новая российская публицистика.

Начнем, однако, с самого острого момента — проблемы отношения к французской словесности и к французскому языку. А.С. Пушкин в набросках рассказа «Рославлев» (1836) о языковой ситуации 1812 г. писал: «Вдруг известие о нашествии и воззвание государя поразили нас. Москва взволновалась. Появились *простонародные* (курсив наш. — Г.С.) листки графа Ростопчина; народ ожесточился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители французского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гостиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр, кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-французски; все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни» [5: 131–132]. А вот и свидетельство современницы тех событий — Марии Александровны Волковой: «На-

род так раздражен, что не осмеливаемся говорить по-французски на улице. Двух офицеров арестовали: они на улице вздумали говорить по-французски; народ принял их за переодетых шпионов и хотел поколотить» [6: 48, письмо от 15.08.1812]. «Французский язык изгнан, крестьяне лишь услышат, что говорят на иностранном языке, сейчас же скорчат грозную гримасу... если, забывшись, по привычке начинали говорить по-французски, мужики сейчас спрашивали: не из тех ли негодяев, которые грабят Россию и Москву?» [Там же: 69, письмо от 27.11.1812].

Итак, проблема употребления французского языка, по крайней мере, на период до конца 1812 г., была решена. Использование французского языка в публичном общении стало сомнительной, а то и опасной модой.

В стране появляются новые формы массовой информации, новые жанры публичного общения.

Прежде всего это печатные воззвания государя (для подготовки их был приглашен А.С. Шишков: высокий церковнославянский слог снова был востребован временем), Святейшего синода и Главного штаба. Высочайший манифест о созыве ополчения, как известно, был объявлен народу 6 июля 1812 г. Вслед за ним сразу вышло из Синода печатное (оформленное на отдельном листе — для раздачи и для расклейки) «Воззвание к первопрестольной столице нашей Москве!» Из-за необычности самого жанра первоначально эти манифесты произвели на население Москвы сокрушающее впечатление: «Когда я пробежал его, холодный пот выступил по всему моему телу; ужас, смешанный с каким-то болезненным чувством души, мешал видеть предметы в настоящем виде. Это воззвание в первый день напугало московских жителей, еще непривыкших, робких и болтливых»; «Решительный язык власти и барства более не годился и был опасен. Изданные тогда от правительства воззвания и различные извещения к народу чрезвычайно были любезны публике, а воззвание Св. Синода в особенности отличалось красноречием, силою и истиной» [1: 20—21, 36].

Основа этих воззваний — церковно-проповеднический стиль. По стилистическим средствам, по используемым жанрам здесь можно видеть продолжение традиций агитационной литературы

начала XVII в. — периода Смуты, см. например, слог воззвания Святейшего синода: «Внушайте сынам силы в упование на Господа сил. Вооружайте словом истины простые души, открытые нападениям коварства. Всех научайте словом и делом не дорожить никакою собственностью, кроме Веры и Отечества» [7: 28]. Официально распространялись письма высокопоставленных особ священнического звания: «5 сентября проехали город Ефремов, где читали письмо Платона, митрополита Московского, к государю императору, пророческое. Сильное и чувствительное» [1: 26].

Прочитывались царские указы, манифесты и воззвания в приходских храмах, затем звучала проповедь священника, совершались молитва и богослужение. Таким образом, светская пропаганда дополнялась религиозно-патриотическим воспитанием.

Разнообразные критические замечания вызывали печатные афиши — прокламации Ростопчина. Они появились еще в июле 1812 г. по идее военного губернатора Москвы Федора Васильевича Ростопчина. В первой прокламации извещалось о заключении мира России с Турцией: «Чтобы удовлетворить нетерпение тех лиц, которые везде и у всех и каждого спрашивали о подробностях, я приказал напечатать в полиции, для раздачи, несколько сот экземпляров с этим известием» [3: 267].

К осени 1812 г. афиши стали выходить ежедневно, однако для истории сохранилось не более двадцати таких текстов [8]. Сохранились другие свидетельства об этих прокламациях: «4 сентября обедали в Ливнах, где читали афишку от 26 августа о битве Бородинской, которая состояла в нескольких строках» [1: 26]; «В Москве напечатали известия, дошедшие до нас, в которых говорилось, что после ужасного кровопролития с обеих сторон ослабевший неприятель отступил на восемь верст, но, что для окончательного решения битвы в пользу русских на следующий день, 27-го, сделают нападение на французов, дабы принудить их к окончательному отступлению. Таково было официальное письмо Кутузова к Ростопчину, которое и поместили в печатном известии» [6: 62, письмо от 11.11.1812].

Ростопчин справедливо решил, что «бороды будут оплотом России» (это выражение из его письма царю от 11.07.1812), но не

нашел правильного тона в разговоре с народом. В оценке его афиш преобладали отрицательные мнения: «А глупые афишки Ростопчина, писанные наречием деревенских баб, совершенно убивали надежду публики» [1: 24]; «афишки московского градоначальника гр. Ростопчина выводили всех из терпения деревенским сказочным стилем, которым желал он приблизиться к понятию черни» [там же: 38]. Избранный для изложения простонародный, сознательно вульгарный слог, излишне пафосная интонация вызывали раздражение у многих. Афиши продемонстрировали недостаток в стилистической системе русского языка начала XIX в. общенародных средств, необходимых для публичного общения, в ростопчинской публицистике без разбору смешивались сатира и выпренность, грубое просторечие и церковнославянские архаизмы.

Денис Давыдов писал по этому поводу: «Я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде ... Но не писать слогом объявлений Ростопчина. Это оскорбляет грамотных, которые видят презрение в том, что им пишут площадным наречием» [9: 17, 117]. «Полина занималась одною политикою, ничего не читала, кроме газет, ростопчинских афишек, и не открывала ни одной книги ... полицейские объявления графа Ростопчина выводили ее из терпения. Шутливый слог их казался ей верхом неприличия» («Рославлев», 134) — такова пушкинская оценка этого жанра массовой агитации.

К счастью, агитационно-пропагандистская практика 1812 г., может быть, только у графа Ростопчина носила импульсивно-анархический характер. Более высоким уровнем отличалась иная, тоже официальная пропагандистская литература, о которой долгое время у исследователей не было полной информации. При Главном штабе по инициативе профессоров Тартуского университета А.С. Кайсарова и Ф.Э. Рамбаха был создан настоящий пропагандистский центр, ядром которого стала походная типография. Первоначальной целью, как написали в служебной записке инициаторы, было путем выпуска «летучих изданий» ведение разъяснительной работы в войсках неприятеля и среди населения соседних государств (Латвии, Польши, Германии), а также

объяснение своему народу захватнических планов Наполеона [10]. Кроме листовок, в походной типографии выпускали военную газету «Россиянин».

Первая листовка тиражом не менее 600 экземпляров была издана около 20 июля 1812 г. Это было обращение М.Б. Барклая-де-Толли к жителям Псковской, Смоленской и Калужской губерний с призывом к вооруженной борьбе с противником (вот фрагменты этого воззвания): «Обыватели псковские, смоленские и калужские! Вы, истинные сыны отечества, верные подданные монарху своему и бесстрашные защитники собственности! Внемлите гласу, воззывающему вас к собственному успокоению вашему, к собственной безопасности вашей ... многие из жителей губернии Смоленской пробудились уже от страха своего. Они, вооружась в домах своих, с мужеством, достойным имени русского, карают злодеев без всякой пощады. Подражайте им все, любящие себя, отечество и государя!» [10]. Идея защиты Отечества и защиты собственности, а также обращение к обывателям как истинным сынам Отечества означали новую концепцию войны: она — *Отечественная* (ради защиты Отечества), она — всенародная (призыв к развертыванию партизанского движения).

Через два дня после первой листовки было опубликовано обращение Барклая-де-Толли к российским дворянам с призывом о защите Родины: «Нашествие врагов силами великими на землю русскую возбуждает в каждом из нас дух справедливого мщения. Вера, обычаи, свобода, целость домов наших, словом, честь отечества в опасности... Увеличьте силу армий наших, поспешите в ряды между воинов русских... есть ли же отдаленность или другие препятствия не позволят иным присоединиться к нам, тогда, вооруженные в домах своих, истребляйте неприятеля мечом и пламенем... Да познают враги, на что народ наш способен. Не посрамям земли Русские!» [Там же].

Листовки издавались также от имени М.И. Кутузова, от Главного штаба армии. Распространялись они в тех губерниях, населению которых были адресованы, а также по всей России, содержали объективную информацию и оказывали исключительно положительное воздействие на настроение народа: «Печатные известия

из армии, рассылаемые по губерниям, конечно, уже известили тебя подробно обо всем» [Там же]. Таким образом, Главный штаб занимался не только организацией обороны, но и организовывал общественное мнение. Выскажем предположение, что «летучие издания» в значительной мере способствовали закреплению ратной идеи русского солдата — «за веру, за царя, за отечество», см. это выражение в письме смоленского помещика от 4—12.09.1812 [в изд.: 1812 год в воспоминаниях ... с. 117].

Строй мыслей, лексика и фразеология, понятные и нынешним русским, выбранный слог, воспроизводивший традиции древнерусских воинских повестей и патриотических церковных проповедей, — все было чрезвычайно счастливо угадано и с энтузиазмом принято людьми.

После печатной пропаганды на второе место по значимости поставим устную речь полководца как образец ораторского стиля. Необыкновенным даром доброго русского приветливого слова отличался Кутузов: «Благодарить он куда мастер — так и вытянет душу на самый кончик носа» [11: 188]. Отмечали также солдаты речи генерала Милорадовича и полковника Дениса Давыдова.

Что касается текущих печатных изданий, то самым неоперативным средством массовой информации в 1812 г. оказалась газета: «А в газетах о занятии Москвы напечатали недели через две. Кутузов, изведав о сем несчастии публику, утешал тем, что потеря Москвы не есть потеря отечества, что он запер неприятеля в ней, перерезал пути его сообщений и снабжения продовольствием. Таким рассказам тогда никто не верил, говорили на это, что Кутузов с ума сошел» [1: 39].

В ту пору выходили всего три газеты: «Санкт-Петербургские ведомости» (ежедневно), «Московские ведомости» (два раза в неделю) и еженедельные «Казанские известия» [12]. Отдельное слово скажем о журналах, которые оказались для общества более заметны. Прежде всего, отличился «Сын Отечества», основанный Н.И. Гречем в 1812 г. специально в связи с событиями Отечественной войны. В нем печатались официальные воззвания, публицистические статьи и художественные произведения о подвигах регулярных русских войск и партизан. Событиям наполеоновских

войн были посвящены многие страницы ежемесячного журнала «Русский вестник», издаваемого С. Глинкой. В нем публиковались рассказы о русской армии и информация об успехах в войне 1812 г. «Вестник Европы» выходил два раза в месяц, редактировал его в то время М.Т. Каченовский, который практиковал политические фельетоны и патриотическую лирику.

Весьма распространено было общение с помощью частных писем. Эпистолярный стиль — детище конца XVIII — начала XIX в., именно письма стали главным средством передачи информации: «Письма из армии приходили почти каждый день, старушки искали на карте местечка Бивака и сердились, не находя его» (Пушкин. «Рославлев», с. 134); «Получаемые тогда из Москвы партикулярные (частные. — Г.С.) письма ничего в себе не содержали, кроме известий о здоровье и уведомлений, что завтра или послезавтра поедут на богомолье к Троице» [1]; «Если через неделю ты не получишь от меня другого письма, значит, меня уже не будет в Москве. Куда мы поедем, не знаю, а равно не ведаю, каким образом буду получать твои письма и сама писать тебе» [6: 44, письмо от 12.08. 1812]; «Я часто получаю послания от Ва-луевых; они так привязались ко мне в течение трех месяцев, проведенных с нами, что при всяком удобном случае посылают мне дружеские письма. Подробности, которые они сообщают мне о Москве, крайне интересны» [Там же: 71, письмо от 10.12.1812].

Самым массовым и эффективным средством коммуникации были слухи, распространяемые устным путем: «мы пробиваемся слухами, распускаемыми в народе, которые большею частию не что иное, как выдумки» [Там же: 55].

Закончим рассказ сведениями о художественных текстах, созданных непосредственно в дни войны и распространявшихся часто устно: это, прежде всего, народные песни (казацкие, солдатские). Образцом такой солдатской песни является датированное 5 (18) июля 1812 г. сочинение отставного солдата Фанагорийского гренадерского полка Никанора Остафьева из Вологды (возможно, это псевдоним) — «Песнь к русским воинам». Приведем начало текста (цит. по изд.: Клятву верности сдержали: 365—366):

Братцы! Грудью послужите,
Грядыте бодро на врага,
И вселенной докажите,
Сколько Русь нам дорога! Посмотрите, подступает
К нам соломенный народ;
Бонапарте выпускает
Разных наций хилый сброд.
Не в одной они все вере,
С принуждением все идут;
При чувствительной потере
На него же нападут.
Вся Европа ожидает
Сей погибели его;
Бонапарта почитает
За злодея своего.

Уже в 1812 г. издаются многочисленные анонимные анти-наполеоновские брошюры: «Воззвание к соотичам, найденное у подножия памятника князя Италийского графа Суворова-Рымникского», «Разговор двух россиян и истинные чувства российского дворянства при получении Высочайшего Манифеста от 6 июля 1812 г.», «Беседа столетнего подмосковного жителя с пленным французским солдатом», «Видение и разговор Н. с С. после сожжения Москвы и подорвания части кремлевских стен при уходе Наполеона с войсками из оной, куда он был допущен без бою и почти в пустую» и др. [13: 10—12] Появляются и первые авторские художественные патриотические произведения, например поэма Жуковского «Певец во стане русских воинов» (сентябрь — начало (до 6) октября 1812), где есть примечательная строчка: «Отчизна к вам взывает!».

Таким образом, короткое по времени французское нашествие в Россию вызвало мощную волну патриотического подъема, активизировавшего общественную жизнь, энергично отразившегося в различных формах речевого общения в 1812 г. и затем гулким эхом прокатившегося в художественной литературе всего девятнадцатого века.

Примечания

1. Записки М.И. Маракуева // 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. — М., 2001. — С. 20—40.
2. Глинка Ф.Н. Записки русского офицера // Клятву верности сдержали: 1812 год в русской литературе. — М., 1987. — С. 201—249.
3. Переписка императора Александра Павловича с графом Ф.В. Ростопчиным // 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. — М., 2001. — С. 76—92.
4. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. — М., 1956. — Т. XII.
5. Пушкин А.С. Рославлев // Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. — М., 1981. — Т. V. — С. 127—137.
6. Из переписки М.А. Волковой и В.И. Ланской // 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. — М., 2001. — С. 41—75.
7. Цит. по работе: Мельникова Л.В. Отечественная война 1812 г. и русская православная церковь // Отечественная история. — 2002. — № 6. — С. 27—38.
8. См. их публикацию: Барсух Н.В. Ростопчинские афиши. — СПб., 1912.
9. Давыдов Д.В. Дневник партизанских действий 1812 г. // Клятву верности сдержали: 1812 год в русской литературе. — М., 1987. — С. 11—129.
10. См. книгу: Листовки Отечественной войны 1812 г.: Сборник документов. — М., 1962.
11. Солдатская переписка в 1812 году // 1812 год в воспоминаниях, переписке и рассказах современников. — М., 2001. — С. 147—205.
12. Русская периодическая печать [1702—1894]: Справочник. — М., 1959.
13. Шведова Надежда. Злых фурий светоч: Образ Наполеона в русской публицистике XIX в. // Родина. — 2002. — № 8. — С. 10—12.

Николай Угодник как народный герой в русской фразеологии

Особенности имени собственного (в данном случае — наименования лица) в значительной мере определяются социокультурным статусом его носителя. Если имя встречается в деловых текстах и бытовой разговорной речи, оно максимально «привязано» к конкретному лицу, семантика имени ограничена личностными качествами его носителя (пол, возраст, профессия, социальный статус, моральные качества и пр.). Если имя функционирует в публицистике и художественной речи, то, как правило, характеризуется не столько конкретное лицо, сколько некий тип лич-

ности, то есть имя употребляется вполне автономно, независимо от конкретной личности. Этот тип речевой ситуации как раз и представлен в русских образных выражениях или фразеологизмах, а именно: в пословицах, поговорках и формулах речевого этикета, т. е. наиболее специфичном для каждого национального языка фрагменте словаря.

Пословицы как автобиография народа и зеркало его культуры сохранили знание о мире и людях, живших задолго до нас. В.И. Даль одним из первых заговорил о пословичной картине мира, оценивая пословицы как «цвет народного ума, самобытной стати; это житейская народная правда, своего рода судебник» [1]. Пословичные тексты дают нам национальное и народное представление о самом почитаемом христианском святом — Николае Угоднике.

Пословичные тексты сложились давно. Чем менее значима в обществе личность человека, тем больше отрицательных коннотаций связано с этим именем, существует и обратная зависимость. Особенности используемого имени в пословицах определяются не только лингвистическими, но и социокультурными, религиозными и другими обстоятельствами. Так, сакральный характер некоторых особо популярных в народе имен, например, имя святителя *Николая*, епископа Мирликийского, было оберегом, запретом на произвольные его трансформации, на отрицательно-оценочные характеристики лица, носящего это имя. Таким образом, национальная, в том числе религиозная, ментальность определяла особенности использования имени.

Мы взяли для наблюдения большой свод пословиц, поговорок, загадок и иных текстов, собранных В.И. Далем («Пословицы русского народа»), полагая, что здесь хорошо просматривается традиционная национальная ментальность русского человека [1]. Привлечен также впервые созданный А.Г. Балакаем «Словарь русского речевого этикета: Формы доброжелательности» [2].

Особое качество имени *Никола* (распространенный разговорный вариант от имени *Николай*) как символа — образа святого видно из следующей пословицы: *Нет имен супротив Иван; нет икон супротив Никол* [1], т. е. *Никола* — это не столько имя, сколько образ, икона, святой.

Лишь некоторые, одиночные употребления имени не имеют отношения к Николаю Угоднику, например, абсолютно положительный образ носителя имени *Никола* обнаруживается в пословице *Никола святоша: все наизусть*, которая, по мнению В.И. Даля, является синонимом идиомы *Великий богослов: весь пролог наизусть* [1]. Значение «старательный, усердный в изучении вероучения» фиксируется у имени *Никола* только в этой пословице, которая, вероятно, имеет отношение к преподобному Николу Святоше, князю черниговскому, который, по данным святцев, жил в XII в..

На положительной коннотации, связанной с именем *Николай*, основана запитная функция этого имени. Человеку с другим именем может и не посчастливиться в жизни, другой (не Николай, а Макар, Кузьма, Захар) может быть неудачником: *На бедного Макара и шишки валяются; Горькому Кузеньке горькая и песенка; По бедному Захару всякая щепка бьет* [1]. У носителей других имен может быть неприглядная внешность и иные отрицательные качества: *Вавила красное рыло. Иван болван. Андрей ротозей. Федул губы надул. Пахом — вся рожа в один ком; И по роже знать, что Созоном звать; Не стоит гроша Пахом, а смотрит пятаком* [1]. В подобном ряду никогда не может быть имени *Никола* — *Николай*. В просмотренных нами сборниках пословиц не встретилось оборотов с именем *Николай* неодобрительного содержания, положительная оценка — обязательная принадлежность семантики этого имени. Ср.: *Наш Касьян на что ни взглянет, все вянет* (имя это считается немилостивым, недобрый — [1]).

Между тем имя *Николай* достаточно частотно в речевой практике. Исследователями фиксируются четыре основные формы этого имени: общелитературное *Николай* (*Николайка, Николаюшка*), народное *Никола* (имеет 212 модифицированных вариантов) и две просторечные формы *Миколой, Микола* со своими вариантами [3: 260–263].

Популярность имени обеспечивается его частотностью в церковном календаре (всего 9 дат).

В многовековой практике русского православия святитель Николай Чудотворец (ок. 280, Патара — ок. 335, Мира Ликийская

— совр. Дебре, Турция) предстает как скорый помощник и надежный, бесстрашный, твердый заступник для всех бедствующих, нуждающихся и одиноких, оклеветанных и невинно осужденных.

В русской фразеологии образ Николы богаче и конкретнее, он окрашен теплой симпатией, он домашний, ежедневный заступник и помощник:

1) активный благотворитель, самый близкий и самый добрый к человеку — *Никола Добрый*;

2) надежный хранитель материального благополучия;

3) покровитель путешествующих и бедствующих на море и на суше.

Во фразеологии не представлен характерный для православной традиции образ Николы — заступника за несправедливо обиженных и осужденных, хотя в вологодских деревнях бытует именование этого святого как *Никола Милостивец*.

Очевидно, исходя из качеств личности реального свт. Николы и народного образа Николы Угодника, отец Павел Флоренский считал, что людям с именем *Николай* присущи такие черты: «Себя самого он (Николай. — Г.С.) склонен считать неким малым Провидением, долг и назначение которого — пеших о разумном благе всех тех, кто в самом деле или по его преувеличенной оценке попал в число опекаемых им. Николаю хочется быть благодетелем, и он почитает долгом своим быть таковым... самая мысль о благородстве возникает в нем как побочный продукт его настоящей доброты... Николай прямолинеен и нарочито честен, нарочито прям» [4: 79–81].

Обратимся к анализу речевого материала. В каждом тексте имя оценивается с точки зрения семантики, функции и структуры.

1. Никола как активный благотворитель, самый близкий и самый добрый к человеку. *На поле Никола общий бог* [1]. Никола — покровитель сельских тружеников, здесь и далее это имя конкретного святого, представленное в разговорном варианте.

Проси Николу, а он Спасу скажет [1]. Никола — предстатель перед Спасом-Христом.

В пословицах шутивно-ироничного содержания *Лучше брани: Никола с нами; Со Спаса дерет, да на Николу кладет* [1] исполь-

зуются только формы народно-разговорного характера, имеется в виду также образ реального святого — доброго и милосердного покровителя, самого надежного и постоянного помощника для всех, кто испытывает трудности, нуждается в поддержке.

В благопожеланиях успехов в какой-либо деятельности Николай предстает как помощник наряду с Господом и Царицей Небесной, ср.: «Помогай тебе Микола-святитель» (Крестовский. Петербургские труппы [Цит. по: 3: 317]). Никола как помощник в пастушеской деятельности охарактеризован в диалектных благопожеланиях типа «*Никола (Микола) в стадо!*» и «*Помоги (помогай) тебе Никола-угодник*» [3: 317].

2. Никола — надежный хранитель материального благополучия: *Оставил воз на дороге, да Никола береги! Кинул кафтан на дороге — святой Никола, побереги!* [1]. В пословицах подчеркнута надежда на Николу как бдительного хранителя благополучия простого человека, даже если этот человек — безалаберный ротозей.

3. Никола — покровитель путешествующих и бедствующих на море и на суше: *Никола Подорожник. Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает* [1]. Здесь имеется в виду Николай Угодник — покровитель моряков и тружеников.

Призывай Бога на помощь, а святого Николу в путь [1]. Распространенное выражение *Никола в путь* как благопожелание считается просторечным или областным [3: 317], это *прощальное* пожелание благополучного пути. Здесь Никола — просторечное имя святого, который рассматривается как покровитель путешествующих. Ср. еще: *Храни тебя Господь!.. Бог на дорогу, Никола в путь!* [3: 317]. *Никола Подорожник* замечен был в XIX в. в *севернорусских* говорах В.И. Далем и этнографом С. Максимовым: *Никола в путь, Христос по дорожке* [1; 3: 317]. Вероятно, областным является и речение *Никола на стану*, которым откликались на реке плотовщики после прохождения опасных порогов [3: 317].

Выявленные нами факты касаются пословиц и формул речевого этикета. В них представлен только *просторечно-разговорный* вариант *Никола*, что объясняется устным бытованием пословичных и этикетных фраз, преимущественным их употреблением в простонародной среде. В подавляющем большинстве случаев речь

идет именно о Николае Угоднике, то есть какое-либо насмешничество даже по отношению к имени *Николай* отсутствует, народное мнение оберегало это имя от отрицательных коннотаций и насмешек. Вероятно, по этой причине оно практически не встречается в загадках, допускающих двусмысленность, неоднозначность понимания. Таким образом, почтительное, уважительное, бережное употребление имени *Николай* — *Никола* в пословичных текстах и формулах речевого этикета объясняется высоким положительным статусом образа святителя Николая, превратившегося на русской почве из абстрактно-далекого архиепископа Мирликийского в бдительного и очень близкого заступника и помощника для каждого трудящегося и страдающего.

Примечания

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. — М., 2000. Ср. также современное исследование: Иванова Е.В. Пословичные картины мира. — СПб., 2004. — С. 4, 14—26.
2. Балакай А.Г. Словарь русского речевого этикета: Формы доброжелательности. — М., 2001.
3. Тихонов А.П., Бояринова Я.З., Рыжкова А.Г. Словарь русских личных имен. — М., 1995.
4. Флоренский П.А. Имена // Имя — судьба. — М., 1993.

Н.В. Гоголь об искусстве речевого общения

Материальное имущество, оставшееся после смерти коллежского асессора Гоголя, составляло 43 рубля 88 копеек серебром [Золотусский 2007: 479]. Творческое наследие писателя Николая Васильевича Гоголя для русского народа и мировой литературы имеет непреходящую ценность. Учтем при этом, что Гоголь продуктивно работал в литературе не более двенадцати лет: в 1831 г., когда ему было 22 года, вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки», а в 1842 г. в возрасте 33 лет он печатает «Мертвые души».

О языке произведений Н.В. Гоголя писали в разное время и с разной степенью дотошности. Наиболее значимы среди таких исследований монография Андрея Белого «Мастерство Гоголя»

[Белый 1934] и работы В.В. Виноградова, начиная с его знаменитых «Этюдов о стиле Гоголя» и статьи «Язык Гоголя» [Виноградов 1926, 1936]. Кстати, и последний спецкурс, который читал В.В. Виноградов в МГУ, был посвящен языку Гоголя и назывался «Стиль Гоголя в его отношении к стилю Пушкина». Особое внимание уделяли филологи языку поэмы «Мертвые души» и комедии «Ревизор», касались и взглядов писателя на русскую речь и его оценок различных элементов русского языка.

Общая идея в отношении русского языка, изложенная самим писателем с известной долей категоричности в письме к Н.М. Языкову 10.02.1842 г., такова: «Исполин наш язык!» [Гоголь 1984, 7: 200]. В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н.В. Гоголь настаивает: «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку» [4: 187]. Здесь же он несколько раз обращает внимание на характерные особенности русского языка (приведем всего два его высказывания): «... с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения. Как всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умением поместить его в надлежащем месте»; «... сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой, как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая, с одной стороны, высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны — выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность, таким образом, в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, осязательной осязанию непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт...» [6: 198, 360].

Обратим также внимание на следующие строчки из предисловия к объяснительному словарю русского языка, материалы для которого Н.В. Гоголь накапливал многие годы: «В продолжение многих лет занимаясь русским языком, поражаясь более и более меткостью и разумом слов его, я убеждался более и более в существенной необходимости такого объяснительного словаря,

который бы выставил, так сказать, лицом русское слово в его прямом значении, осветил бы его, выказал бы опутительней его достоинство, так часто не замечаемое, и обнаружил бы отчасти самое происхождение. Тем более казался мне необходимым такой словарь, что посреди чужеземной жизни нашего общества, так мало свойственной духу земли и народа, извращается прямое, истинное значение коренных русских слов, одним приписывается другой смысл, другие позабываются вовсе» [Гоголь 1952: 441].

В конце жизни Гоголь придет к убеждению, что три основных источника должны быть основой развития русского языка: народные песни, пословицы, церковные книги и поучения. Однако на протяжении всего своего творческого пути Гоголь утверждал значимость и других источников: это устно-бытовое просторечие и разговорная речь, простонародный язык с его областными вариациями, язык города с его сословными и профессиональными диалектами.

Нас интересуют те гоголевские рассуждения, которые писатель адресовал широкой публике, которые содержатся в его опубликованных и неоднократно издаваемых произведениях и которые в силу этого могли повлиять на речевую практику общества.

Собственными знаниями русского языка, по мнению В. Вересаева, Гоголь не мог похвастать. Его письма пестрели ошибками [Вересаев 1934: 58—59]. Андрей Белый набрал гоголевских ошибок на целый раздел своей книги, отмечая их следующими рубриками: *неправильны надежи, с глаголами — плохо, ужасны дсепричастия, путаница в видах, в залогах; не ладно с союзами, косолапы наречия*. Белый делает вывод: «это подчеркивает его (Гоголя. — Г.С.) талант: без грамматики совершать в языке революции» (Белый 1934: 279—282).

Попутно укажем еще на одну ошибку Н.В. Гоголя, зафиксированную нами в тексте повести «Тарас Бульба». Она связана со словом *черенок*, см. примеры: «Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинуд аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогою рукоятью и отвязавши от пояса целый *черенок* с червонцами» [2: 92]; «И польстился коры-

стью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных камней, отвязал от пояса черенок с червонцами ...» [2: 93]. Безусловно, как и решают современные издатели, в этом контексте *черенок* значит «кошелек» (2: 312). Но слово *черенок* как во времена Гоголя, так и в эпоху Тараса Бульбы имело только значение «рукоять, рукоятка, ручка, хватка, за что берут вещь, снаряд, орудие; колодочка» (Даль 1978, IV: 502), «рукоять, черен» (Срезневский 1909, 3, вып. 3: 1501). Значит, в приведенных цитатах должно быть слово *через* — *черезок*, хорошо зафиксированное в древнерусском языке и имевшее значение «дорожный кожаный пояс на подкладке, шириною в ладонь, внутри которого хранились деньги» (см. об этом подробно в нашей работе: [Судаков 1987: 38—56]).

Простим Гоголю его ошибки: его детство прошло в смешанной русско-украинской диалектной среде. Истины ради отметим, что в течение всей своей жизни Гоголь тщательно, упорно изучал русский язык во всех тонкостях и во всех оттенках слов: записывал в записные книжки редкие слова, провинциализмы, технические и экономические термины; увлеченно подбирал синонимы, старался избегать иноязычных заимствований, см. анализ выполненных им словарных записей в работе: [Еремина 1987: 25—29].

На протяжении творческой жизни менялось отношение писателя к слову, менялась и оценка речевых поступков персонажей, вкладываемая им в уста своих героев, а иногда высказываемая от лица рассказчика или непосредственно от автора. Если различать в зависимости от содержания метаязыковых высказываний рефлексию языковую и рефлексию речевую, то у Гоголя мы находим оба типа оценочных высказываний: в сферу речевой рефлексии включаются факты оценки речевого поведения и речевых тактик персонажей; к языковой рефлексии отнесем оценки значения или звучания отдельных слов, попытки определения значений с помощью синонимов или описательного комментария, указание на сферу употребления или на закреплённость языкового элемента за диалектом, жаргоном, просторечием. О различении двух типов рефлексии см.: [Николина 2006: 62]. К рефлексии языкового характера относятся также выяснение временных параметров языко-

вой единицы (динамический рефлексив), стилистическая оценка уместности/неуместности употребляемого слова (стилистический рефлексив), оценка формальной и семантической структуры слова (деривационный рефлексив) [ср.: Вепрева 2002: 126—201].

В ранних повестях, включенных в сборники «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», герои часто выступают как «наивные лингвисты», слова и фразы для них — предмет оценки, но сама оценка проста и поверхностна, ср. как писарь характеризует высказывания хлопцев о голове в «Майской ночи, или Утопленнице»: «Твою милость величают *такими словами... словом, сказать, стыдно*» [1: 70]. Еще один пример из той же повести: «...пьяный Каленик не добрался еще и до половины дороги и долго еще угощал голову всеми *отборными словами*, какие могли только вспасть на лениво и несвязно поворочивавшийся язык его» [1: 63]. *Отборную* речь, которую слышал наш автор и в Петербурге, он характеризует в иронически-насмешливых тонах в повести «Невский проспект»: «В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться *такими резкими выражениями, каких они, вероятно, не услышат даже в театре*» [3: 7]. О том, что «любит выражаться русский народ», Гоголь вспомнит еще и «Мертвых душах», не приводя. в отличие от современных авторов, оцениваемых «отборных» выражений

Попробуем вывести из гоголевских текстов, из метаязыковых высказываний автора и реплик его героев практические советы, как достичь успехов в речевом общении. Формулировки правил, которыми руководствовался писатель в отношении к различным формам общения, прежде всего устного, принадлежат нам, но основаны они на высказываниях Н.В. Гоголя, на цитатах из его произведений. При этом внимание обращалось прежде всего на то, что советовал делать Гоголь, к чему стремиться, а не на то, что он осуждал и, стало быть, не советовал повторять. Это и злоупотребление иноязычными выражениями, и чиновничий жаргон, и «талантерейный слог» дам и другие погрешности в речи.

Есть мнение, что в своих ранних повестях «Гоголь утверждает позиции устного слова, противопоставляя его слову письменному» [Софронова 2008: 24], и уже в начале творческого пути Гоголь

осознал первое правило успешной речи — говори так, как тебя хотел бы слышать собеседник. И вот как кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством» размышляет о тактике речевого поведения запорожца в разговоре с царицей и одновременно квалифицирует избранную им манеру разговора и языковые средства как «грубое мужицкое наречие»: «... и кузнец удивился, слыша, как этот запорожец, зная так хорошо *грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. "Хитрый народ!"* — подумал он сам себе, — *верно, недаром он это делает*» [1: 130]. Понятно, что устами малограмотного Вакулы оценку социально-речевого стиля дает образованный автор повести Н.В. Гоголь.

Второе правило — будь понятным — тоже реализуется в украинских повестях. В предисловии к обеим частям «Вечеров на хуторе близ Диканьки» писатель от имени рассказчика Рудого Панька представляет читателям словарики, необходимые для чтения: «На всякий случай, чтоб не помянули меня недобрым словом, выписываю сюда, по азбучному порядку, те слова, которые в книжке этой не всякому понятны» [1: 14]; «В этой книжке есть много слов, не всякому понятных. Здесь они почти все означены...» [1: 93]. В словарики не только украинизмы (вопрос об отношении Н.В. Гоголя к украинизмам и способам раскрытия их значений мы не затрагиваем), но и бытовые русские слова, например: *батог, бондарь, бублик, выкрутасы, домовина, коровай, миска, некло, сукня*.

От имени *пасичника* представлена и другая форма проявления рефлексии писателя на названия этнографических реалий — это подстрочные замечания к тексту: «*Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками*. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат...» [1: 95]. Правда, иногда писатель напрямую объясняет некоторые принятые в народе наименования: «Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед — все немец» [1: 96].

Важно, что социально-речевые портреты персонажей создает не только автор произведения, но и его герои оказываются

внимательными к особенностям речевого общения своих знакомых. Так, в повести «Сорочинская ярмарка» попovich, попавший в крапиву, вспоминает изречения своего бывшего протопопа: «Тс! ничего, ничего, любезнейшая Хавронья Никифировна!... *выключая только уязвления со стороны крапивы, сего змиеподобного злака, по выражению покойного отца протопопа*» [1: 27]. Церковнославянизмы и в дальнейшем будут неоднократно использоваться писателем, их функции рассмотрены, например, В.В. Виноградовым: [Виноградов 1936: 307-308].

В своих романтических повестях Н.В. Гоголь успешно учится искусству социально-речевых характеристик, осваивая не только социальные диалектизмы, но и жаргон отдельных сообществ. В повести «Вий» он живописует быт семинаристов, изредка используя их выражения, кратко указывая на источник и на значение фразеологизма, см.: «Бурса и семинария носили какие-то длинные подобию скюртуков, простиравшихся *по сие время* (выделено Н.В. Гоголем. — Г.С.); слово техническое, означавшее — далее пяток» [2: 141]; «Самое торжественное для семинарии событие было вакансии — время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. ... Философы и богословы отправлялись *на кондиции* (выделено Н.В. Гоголем. — Г.С.), то есть брались учить ли приготавливать детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на скюртук» [2: 142]

Правило третье — обозначай точно и выразительно описываемый предмет. В петербургских повестях у Гоголя впервые появляются авторские развернутые номинации, привлекавших внимание людей и явлений: «... весь тот *разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный*, — людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов... Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая» [3: 98]. Более пространная характеристика разряда «пепельных людей» была приведена в первоначальной редакции той же повести «Портрет», опубликованной в журнале «Арабески» [3: 235—236].

В петербургских повестях и в пьесах подобных номинаций много, иногда автор для убедительности подчеркивает их общеизвестность и общеупотребительность в определенной среде: «... чиновник ... с морщинами по обеим сторонам щек и *цветом лица что называется геморроидальным*... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наустрились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться» [Шинель; 3: 114]. См. характеристику главного героя в «Ревизоре»: «... несколько приглуповат и, как говорят, без цыря в голове, — один из тех людей, которых в канцелярии называют пустейшими» [4: 8], и в одном из приложений к «Ревизору»: «Что такое, если разобрать в самом деле, Хлестаков? Молодой человек, чиновник, и пустой, как называют ...» [4: 331]. Используя расхожие выражения, автор стремится подчеркнуть типичность такой личности, ее заурядность.

Ссылки называются, что называют, как говорят, как говорится, что обыкновенно говорится, примерно сказать, как их называют в русских трактирах, как выражаются в иных местах обширного русского государства, по русскому выражению, как говорят в провинции и др. нужны писателю для того, чтобы ввести в текст эмоциональное просторечное слово или яркий профессионализм, например: «Вот не знаю, как запустить бакенбарды: так ли, чтобы решительно вокруг было бахромкой, как говорят — сукном обшит, или выбрать все гольем, а под губой завести что-нибудь, а?» [«Лакейская»; 4: 215]; «Ну, натурально, бал, или, что обыкновенно говорится, — вечеринка. Конечно, будет угощение, примерно сказать — прохладительное» [«Владимир 3-ей степени», 4: 363]. Особенно много таких примеров в «Мертвых душах», приведем лишь некоторые: «... господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах»; «День, кажется, был заключен ... крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства»; «одно странное свойство гостя

и предприятие, или, как говорят в провинции, пассаж, о котором читатель скоро узнает...»; «... приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время»; «Они называются разбитными малыми... Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе "ты"»; «... он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клецками на лошадь хомут»; «... весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш» [5: 7, 11, 17, 65, 71, 111].

Для более точного указания на социальную сферу или корпоративную группу, с которой связано выражение, писатель использует и другие обозначения: «... «черви! червоточина! пикенция!» или «пикендрас! пичурупух! пичура!» и даже просто «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе» [о жаргоне карточных игроков; 5: 15]; «... все они (собаки. — Г.С.), тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям...» [5: 68]; «(водяная мельница. — Г.С.), где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене, — «порхающий», по чудному выражению русского мужика» [5: 69]; «... волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня поberi», как говорят французы...» [о слогe парикмахеров; 5: 13].

Любопытно отношение автора к новому слову *капиталист*, которое из-за неопределенности значения не могло удовлетворить писателя. В журнальной редакции повести «Портрет» он использует его с пояснением «громкое название» как синоним к слову *ростовщики*: «Тогда находятся между ними такие люди, которые носят громкое название капиталистов и могут снабжать за разные проценты, всегда почти непомерные, суммою от двадцати до ста рублей. Эти люди мало-помалу составляют состояние, которое позволяет завестись иногда собственным домиком. Но на этих ростовщиков вовсе не было похоже одно странное существо, носившее фамилию Петромихали» [«Портрет»; 3: 237]. В окончательной редакции повести используется только слово *ростовщики*, которое повторяется в разных сочетаниях: *особого*

рода ростовицки, небольшие ростовицки, богатый ростовицк, такими ростовицками, между ростовицками, этот ростовицк отличался от других ростовицков, другим ростовицкам [«Портрет»; 3: 99–100].

В текст «Мертвых душ» попало новое слово *миллионщик*, которое писатель решил оценить с точки зрения восприятия его современниками: «... виною всему слово «миллионщик», — не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших, — словом, на всех действует.» [5: 148–149].

А вот его реакция на выражение *квасной патриот*, которое одним из первых использовал П. Вяземский в 1827 г. [Вяземский 1827: 232]: «Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые *квасные патриоты*: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию» [7: 205, 507].

Правило четвертое — говори внятно, борись с косноязычием. В характеристику главного героя повести «Шинель» введено подробное описание особенностей его речи: «Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предложениями, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил» [3: 121]. Ср. похожую оценку такой речевой способности в незаконченной комедии «Владимир 3-ей степени»: «Оно, конечно, не всякий человек имеет, *примерно сказать, речь, то есть дар слова*. Натурально, бывает иногда... что, как обыкновенно говорят, *косноязычие*. Да. Или иные прочие, подобные случаи, что, впрочем, уже происходит от натуры...» [4: 364]. Почтмейстер в «Мертвых душах» «любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так

сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками» [5: 146].

Правило пятое — используй выразительную фразеологию. В записных книжках писателя немало записей пословиц и поговорок, остроумны и короткие оценки, с помощью которых паремии вводятся в текст: «Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, *по русскому выражению: черту не брат*» [3: 78]; «Они именно то, что *говорит пословица: "Не душой худ, а просто плут"*» [4: 237]; «Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, по словам пословицы» [5: 22]; «*Сметливость — наше свойство, и у нас давно живет пословица: умный по хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся*» [6: 373]. Развернутая оценка языка пословиц приведена в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «... в пословицах наших... видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составлять животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за все ее живое» [6: 326]. См. еще из письма С.Т. Аксакову 16 мая 1844 г.: «Пословица не бывает даром, а пословица говорит: Хвалился черт всем миром овладеть, а бог ему и над свиньей не дал власти» [6: 239].

В чиновничьем кругу, по наблюдениям писателя, рождаются и свои насмешливые изречения и наименования: «... *выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясицу*» [3: 116]; «Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; *от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее канотом*» [3: 119]. Зато выражения *значительное лицо* или *одно значительное лицо* в этом кругу произносятся с особым пиететом, что и подчеркивает неоднократно писатель: «... а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем со-

стояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до сего времени он был *незначительным лицом*» (шрифтовые выделения принадлежат Гоголю. — Г.С.) [3: 133].

Н.В. Гоголь обратил внимание на особое остроумие русского народа при обозначении того веселого состояния, которое приобретает выпивший человек: «... он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний *был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадили сивухой, одноглазый черт»* [3: 120]; «*Пьян как сапожник*» — *говорит пословица*» [5: 127]; «... приходили даже подчас в присутствии, как говорится, нализавшись...» [5: 215].

Правило шестое — учитывай речевую личность собеседника. Известно, с каким мастерством общался с разными лицами Чичиков, он осознавал зависимость стиля и экспрессии речи от социального статуса и ранга собеседника: «Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию» [5: 220]. Но не забудем, что это наблюдательность и талант Гоголя обеспечили такой успех герою. Первым «социально-экспрессивный универсализм чичиковской речи» отметил В.В. Виноградов [Виноградов 1938: 370]; ср. также: [Тихонов 2005; Фролова 2008]. Вот как писатель оценивает речевой гений Чичикова: «*Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения... у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот, — словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки*» [5: 45—46].

Правило седьмое — будь доброжелательным, не оскорбляй собеседника. Удивительно, но эту норму исповедует Чичиков, который на слова Ноздрева («ведь ты большой мошенник ... я бы тебя повесил на первом дереве») реагирует так: «Чичиков

оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся» [5: 74].

Правило восьмое — подбирай «меткие слова». Вспомним известные гоголевские рассуждения в «Мертвых душах» по поводу прозвища Плюшкина: «Произнесенное метко все равно что писанное не вырубливается топором. А уж куда бывает метко все то, что вышло из глубины Руси»; «... нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово» [5: 102]. Известны прямые, вне художественного текста, уроки речевой тактики, предложенные писателем русскому помещику при общении с мужиком в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «... *умей пронять его хорошенько словом*; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; ... Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. *Выкопай слово еще похуже, словом — назови всем, чем только не хочет быть русский человек*» [5: 278]. Это правило соблюдает, например, «мужская партия» губернского города, ср.: «Многие даже из мужчин... подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужского пола» [5: 180]. Вероятно, этому правилу следует и Петр Петрович Петух — один из героев второго тома «Мертвых душ»: «Ротозей Емельян и вор Антошка были народ хороший и расторопный. Названья эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно, а он пресного не любил; сам был добр душой, но словцо любил пряное» [5: 281].

Вместе с тем мастер слова осознавал несовершенство устной речи современников при отсутствии практики публичного обще-

ния: «... среди нас мало речистых говорунов, способных пеголать в палатах и парламентах...» [6: 189].

Правило девятое — выбери стиль общения, соответствующий ситуации. Гоголь один из первых в русской литературе часто и подробно оценивает речевые стили, этикет общения, причем упражняются в этих оценках чаще всего его герои. Так, Осип в комедии «Ревизор» свои наблюдения за «жизнем в Питере» формулирует так: *«Разговаривают все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — куницы тебе кричат: «Почтенный!»... Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливое слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит “вы”»* [4: 24–25]. См. еще пример из пьесы «Лакейская»: «Нет, нет, все эти письма, я вижу, как-то не то... совсем не годятся. Нужно поискать чего-нибудь сильного, где виден кипятюк, кипятюк, что называют. А вот, вот, посмотрим это. (Читает.) «Жестокий тиран души моей!?» А, это что-то хорошее, однако ж «тронься сердечной моей участью!?» И *преблагородно! ей-богу, преблагородно! Ведь вот видно воспитанье! Уж по началу видно, кто как себя поведет. Вот как нужно писать! Чувствительно, а между тем и человек не оскорблен*» [4: 214].

По наблюдениям Гоголя, «галантерейный стиль», в котором причудливо сочетались канцеляризмы, галлицизмы, перифразы с элементами церковно-книжного языка, был свойственен провинциальным помещикам и слугам в столичных домах, см., например: «... не будет ли это *предприятие, или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция...*» [5: 33]. Слуги подражают господам в «галантерейном обхождении», воспроизводя чиновничий лексикон: «Их *должность, или, так выразиться, дирскция* состоит в том, чтобы отпустить овес или укорить в чем, если провинился форейтор или кучер» [«Лакейская»; 5: 203]. Герои «Ревизора» знают комплиментарный слог («Вы это *так изволите говорить, для комплимента*» — заявляет Хлестакову Анна Андреевна; 5: 43–44). Укажем еще на неоднократно цитированные характеристики дамского разговора и речь высшего сословия из «Мертвых душ» [5: 148, 154, 170–171].

Естественно, что в «Театральном разъезде после представления новой комедии» зрители начинают обсуждать и язык пьесы:

«Л и т е р а т о р. ... Ну что за разговорный язык? Кто говорит эдак в высшем обществе? Ну скажите сами, ну говорим ли мы с вами эдак? — Неизвестно какой человек. Это правда; это вы очень тонко заметили. Именно. Я вот сам про это думал: *в разговоре благородства нет. Все лица, кажется, как будто не могут скрыть низкой природы своей* — это правда» [5: 218—219]. Здесь Н.В. Гоголь фиксирует характерную особенность языка бытовой драмы того времени: неумение авторов провести границу между речью представителей разных социальных групп, бездумное воспроизведение просторечия, несоответствие литературного диалога реальной речевой практике.

В итоге получается такой свод практических правил эффективного речевого общения (успешной речи):

1. Говори так, как тебя хотел бы слышать собеседник.
2. Будь понятным.
3. Обозначай точно и выразительно описываемый предмет.
4. Говори внятно, борись с косноязычием.
5. Используй выразительную фразеологию.
6. Учитывай речевую личность собеседника.
7. Будь доброжелательным, не оскорбляй собеседника.
8. Подбирай «меткие слова».
9. Выбирай стиль общения, соответствующий ситуации.

Как соотносятся эти правила с требованиями риторики? Конечно, Н.В. Гоголь знал требования риторического канона, изучал риторику, но классический канон не отвечал изменившимся условиям общения, динамичной ситуации XIX в., поэтому в своих произведениях писатель намечает иные тактики речевого общения, более демократичные, лучше соответствующие менталитету и стилистике эпохи. Кстати, все эти советы вполне применимы и в условиях общения XXI в.

Положительно оценивая усилия Н.В. Гоголя по демократизации русского литературного языка за счет бытового просторечия, путем оживления художественной речи средствами крестьянского и городского языка, при внимании к пословичному фонду русского народа, особенно высоко следует поставить разработку Гоголем форм и приемов речевого общения, создание разнообразных образцов эффективного диалога в различных ситуациях.

Литература

1. *Белый Андрей*. Мастерство Гоголя: Исследование. — М.; Л., 1934.
2. *Вересаев В.* Как работал Гоголь. — М., 1934.
3. *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII — XIX вв. — М., 1938.
4. *Виноградов В.В.* Этюды о стиле Гоголя. — Л., 1926; *Виноградов В.В.* Язык Гоголя // Н.В. Гоголь. Материалы и исследования. 2. — М.; Л., 1936. — С. 286—376.
5. *Вяземский П.* Письмо из Парижа // Московский телеграф. — 1827. — Ч. 15, № 11.
6. *Гоголь Н.В.* Полное собрание сочинений. — Л., 1952. — Т. 9.
7. *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений в семи томах. — М., 1984—1986. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте статьи в скобках с указанием тома и страницы. Курсив в цитатах мой. — Г.С.
8. *Даль Владимир*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. — М., 1978—1980.
9. *Еремина А.И.* О языке художественной прозы Н.В. Гоголя. — М., 1987.
10. *Золотуский Игорь*. Гоголь. — М., 2007.
11. *Николина Н.А.* Языковая и речевая рефлексия в пьесах Н.А. Островского // Русский язык в школе. — 2006. — № 3. — С. 62—64.
12. *Софронова Л.А.* Рассказчик и слушатель в ранних повестях Гоголя // Известия РАН. Серия литературы и языка. — 2008. — Т. 67. — № 3. — С. 24—32.
13. *Срезневский И.И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. — СПб., 1909. — Т. 3. — Вып. III.
14. *Судаков Г.В.* География и жанрово-стилевая дифференциация слов в русской письменности XVI—XVII вв. — М., 1987. — С. 38—56.
15. *Тихонов С.Е.* Н.В. Гоголь и речевое воздействие (П.И. Чичиков и эффективность общения) // Русская словесность. — 2005. — № 5. — С. 62—66.
16. *Фролова В.В.* Уловки Чичикова в диалогах с помещиками // Русская речь. — 2008. № 3. — С. 15—19
17. *Вепрева И.Т.* Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. — Екатеринбург, 2002.

Лексикологические заметки М.Н. Загоскина

М.Н. Загоскин (1789—1852) — один из авторов, во многом забытых сегодня, но известных и даже влиятельных в XIX в. Известность Загоскина основывалась на авторстве 29 томов романов, повестей, рассказов и комедий, самые популярные его произве-

дения: «Юрий Милославский» (1823), «Рославлев», «Аскольдова могила» (1833). Влиятельность Загоскина обеспечивалась статусом члена Русского отделения императорской Академии наук (1832) и должностью председателя Общества любителей российской словесности при Московском университете, которую он исполнял в 1833–1836 гг. [1].

Попытаемся выяснить, как М.Н. Загоскин, академик и председатель Общества любителей российской словесности, оценивал языковую ситуацию своего времени, что считал основой лексикона эпохи, как понимал его состав.

В творческой юности М.Н. Загоскин — безусловный шишковист, архаист, славянофил. Уже в первой своей пьесе «Комедия против комедии, или Урок волокитам» (1815) он поддерживал А.А. Шаховского в его борьбе с карамзинистами. Со временем смягчались и взгляды «правоверных» архаистов. Для примера приведем ироническое замечание самого Загоскина о *славяномании*: «Николай Степанович очень добрый, умный и образованный человек, но у него есть одна слабость, впрочем самая невинная и безгрешная: он видит везде славян, находит во всех древних языках сходство с славянским языком... ему первому пришла в голову догадка, что царя Менелая прозвали этим именем, потому что он со всеми ругался и что ему часто говорили: мене лай! Несмотря, однако ж, на эту странную *славяноманию*, он человек истинно ученый» [2]

Лингвистические, преимущественно лексикологические замечания находим во многих текстах писателя. Он оценивал речевые увлечения современников и разъяснял лексические новации, при этом применял разнообразные формы выражения своего отношения к языковым новшествам: курсивное выделение нового словоупотребления, авторский комментарий, замечания о слове непосредственно в тексте, специальный очерк об особенностях словаря эпохи. Его наблюдения над словоупотреблением того времени обстоятельны и разносторонни, а характеристики слова часто более подробны, чем в словаре В.И. Даля. Однако не все замеченное и предложенное Загоскиным было учтено в современной ему и в нынешней лексикографии.

В связи с этим обратим внимание на цикл очерков писателя «Москва и москвичи». Строго говоря, это не бытовые, не этнографические очерки в духе «натуральной школы». Это культурологические материалы писателя. Но выбор жанра очерка, конечно, связан с общекультурной традицией эпохи.

Цикл «Москва и москвичи» состоит из четырех «выходов» (выпусков), которые издавались в течение 1842—1850 гг. В составе цикла сцены из домашней и общественной московской жизни: описание балов, народных гуляний, клубов, литературных вечеров, свадеб, характеристика транспортных средств, рассказ о гостиницах, фабриках, магазинах, карточных играх, театральных представлениях, содержание бульварных разговоров и городские слухи, практика нанесения визитов и гостевания.

Пафос заметок М.Н. Загоскина в какой-то мере выражает дважды повторенный им в очерках эпиграф из Грибоедова: «Воскреснем ли когда от чужевластья мод, Чтоб умный, добрый наш народ, Хотя по языку, нас не считал за немцев» («Московский старожил»; «Письмо из Арзамаса»). Но содержание лингвистических замечаний писателя гораздо шире этого тезиса. Рассмотрим подробнее его оценки языковой ситуации и речевых обычаев, литературно-языковой моды эпохи, его внимание к лексическим новациям и национальной фразеологии, свободное обращение с просторечием и жаргонной лексикой, оценим отношение писателя к заимствованиям.

Языковые идеалы М.Н. Загоскина основывались не столько на почитании прошлого, сколько на обычаях и приемах живой, современной ему русской речи, что справедливо отмечал С.Т. Аксаков: «Будучи по преимуществу русским человеком в складе своего ума и речи, нередко простым и метким словом обличал он запутанность отвлеченного предмета, о котором шел спор» («Биография Михаила Николаевича Загоскина»); «Чтобы задумать и заговорить вполне русским человеком, ему не нужно подслушивать, как думает и говорит русский народ: ему стоит только заговорить самому» (Там же). М.А. Дмитриев, племянник известного поэта И.И. Дмитриева, вспоминал о Загоскине: «У него было множество шуток и поговорок, которые я от него только и слышал. Вот

главнейшие: «Ткни его пятым пальцем под девятое ребро!», «Проглочу, да не высру, без вести пропадешь!», «Завалился за маковое зерно, да и думает, что он великий человек!», «Много ли тебя в земле-то, а на земле-то немного!» («Воспоминания о М.Н. Загоскине»). Этот же мемуарист отмечал привычку Загоскина французские выражения переводить русскими поговорками: «Например, скажет громко: *Cela ne vaut pas un verre d'eau fraîche*» [«Это не стоит стакана холодной воды» (фр.)] и тут же прибавит по-русски: «то есть, выеденного яйца не стоит»» (Там же).

Вообще в художественной речи Загоскина пословицы и поговорки достаточно часты, например в очерке «Дураки»: «...в людях не тому почет, кто велик телом, да мал делом, дюж и дороден, да ни на что не пригоден, а тому, кто и мал, да удал и хоть собой невзрачен, да на все удачен. Мал золотник, да дорог, велика Федора, да дура».

Часто автором подчеркивалась национальная принадлежность пословицы: «“В семье не без урода”, гласит русская пословица»; «Мы забыли русскую пословицу: “Первую песенку зардевшись спеть”»; «по русской пословице, в мутной воде рыбу ловить»; «сбывается русская пословица: “Куда конь с копытом, туда и рак с клешней”»; «“Свой своему поневоле брат!” — говорит русская пословица»; «русская пословица или народная поговорка: “Не раскуся ореха, о зерне не толкуй”».

Количество использованных пословиц так велико, что можно было бы составить специальный словарь идиом по текстам М.Н. Загоскина. В доказательство добавим еще несколько выразительных примеров: *Пьян как стелька, По Сеньке шапка, по седоку извозчик, Кинь хлеб-соль назад — будет впереди!, Слишком понагрузился, сирень хлебнул через край, Не скоро, да здорово, Вора помиловать — доброго погубить.*

Вероятно, по тем же причинам так естественны в текстах Загоскина просторечные слова и выражения, по поводу употребления которых приведем несколько его замечаний: «Мы привыкли уже называть ванькою каждого крестьянина, который зимой приезжает из деревни извозничать в Москве». У Даля: «Ванька м. *итрб. мскв.* зимний легковой извозчик на крестьянской лошаде-

ке и с плохой упряжкой, который не стоит на бирже, а стережет ездовых по улицам» [3].

Следующее замечание касается слова *переругиваться*: «... вы услышите, как они *переругиваются* меж собою, извините, это выражение не слишком благородно, но другого я никак придумать не могу». Ср. еще замечание по поводу слова *поминки*: «В древние времена мы справляли *тризну* по усопшим; в наше время простой народ пьет вино и гуляет на *поминках* почти так же, как на свадебном пиру».

Рассмотрим еще пример на ту же тему из «Неравного брака» (1817): «Мода и обычай изгнали из языка нашего много таких слов, которые в некоторых случаях бывают необходимы; например, слово *колымага* могло бы дать совершенное понятие о дорожном экипаже Славлюбского; но кто не побоялся бы на моем месте, употребляя оное, подвергнуться колким насмешкам модных рецензентов, которые называли бы сие коренное русское слово низким, площадным» [4].

Внимание литератора привлекло новое значение слова *веревка*, которое комментируется им прямо в тексте очерков: «Через четверть часа попали в веревку, то есть в длинный ряд экипажей, который начинался за полверсты от дома графа»; «До заставы я ехал свободно и попал в веревку, или ряд экипажей, только тогда, когда въехал в широкую просеку». Кстати, у Даля слово *веревки* в значении «ряд экипажей» не отмечено. А вот как разъясняется новый смысл слов *бездушный* и *малодушный*: «... на дворянских выборах все помещики, у которых нет ста душ, не имеют голосов, и называются, смотря по их состоянию, малодушными или даже вовсе бездушными».

Обычаи речевого этикета, характерные для купеческой среды, зафиксированы в следующем фрагменте: «...случается, что ваша дама промолвится: говоря об одном человека, употребит множественное число «они» или назовет своего отца тятенькой».

Самым распространенным и пагубным для русской речи явлением наш автор считал моду «парижанить». Вот как он описывал ее проявления и динамику во времени: «Этот губернский город, несмотря на свое отдаление от обеих столиц, щеголял всегда сво-

им европейским просвещением, безусловной любовью к *Западу* и, вероятно, был родиною знаменитой госпожи Курдюковой, потому что все жители его чрезвычайно любили говорить разом на двух языках, на плохом русском и на дурном французском»; «Она (княгиня. — Г.С.) любила также иногда пожеманиться и, чтоб казаться интересною, ужасно коверкала русский язык»; «Эта проклятая мода парижанить да вторить во всем французам, словно корни пустила в русскую землю... рабское подражание иностранцам, по крайней мере в словесности, приметно ослабевало, стали появляться сочинения совершенно русские, народные, любовь к чтению русских книг быстро распространялась во всех классах общества»; «Этот *лев* (о приказчике из лавки. — Г.С.) суровской линии изъяснялся с купеческой дочкою на французском диалекте и называл ее попеременно то мадемуазель, то Матреной Карповной... Видно, эта французская дурь выходит из моды, если начала уже пробираться в нижние слои нашего общества». Кстати, и в рассуждении о слове *мода* Загоскин снова вспоминает Париж, обратим также внимание на семантику слова *мода* в трактовке писателя: «Этот временный обычай, или лучше сказать, минутная прихоть, которую мы называем *модю* и которая почти всегда появлялась в Париже, как заразительная болезнь разливается по всей Европе».

Сам автор широко употребляет многие популярные для того времени иноязычные заимствования, особенно касающиеся женской моды, домашнего быта и этикета. Далеко не все эти слова зафиксированы у Даля, например: «Я ... пожал, как следует человеку фашionaбельному, руки у дам»; «Любовь Дмитриевна... играла рассеянно своим флеровым эшарпом»; «выплясывают матрадуры... станут танцевать алагрек». Кстати, танцевальная лексика особенно широко представлена в очерках Загоскина: *экоссез, дансер, па, балансе, па-де-коте, шасе-ан-аван, па-де-ригодон* и т.д.

Интересны случаи фиксации Загоскиным новых реалий и — соответственно — новых наименований, например, из названий транспортных средств: «недавно учрежденные при Московском почтамте почтовые кареты и брики». У Даля находим: «Брик, см. *бриг* и *брика*. ... Бричка, *брыка* ... Брик или брык принято как

название вновь введенных почтовых крытых, тяжелых повозок» [Даль : I].

А вот новации в сфере карточных игр: «Люди нетанцующие составили партии; несколько стариков, по прежней привычке, засели в вист, а все другие принялись козырять в преферанс — эту бестолковую, но забавную игру, которая сбила с поля и затейливый бостон, и глубокомысленный вист и завладела, вероятно, надолго всеми ломберными столами Российской империи»; вот еще карточные термины, описанные Загоскиным: *роберт, фоска, леве, онер*.

Кажется, самым нелюбимым иноязычным заимствованием вместе с соответствующей реалией было для Загоскина слово *пальто*: «... в пальто, похожем на широкую юбку с рукавами»; «... накинул на себя какой-то шушун, который французы называют пальто»; «... ты можешь быть в скюртуке, даже в модном пальто-сак, то есть почти в халате»; «безобразное пальто — мешок, который волочится по земле ... шутовской балахон — пальто»; «долговязый мусью в суконном балахоне... — то есть в пальто». Близкое по отрицательной оценке толкование слова дается Далем: «весьма неудобное для нас название верхнего платья, мужского и женского, вроде широкого сертука» [Даль: III].

Ошибочно утверждать, что Загоскин осуждал любые западные заимствования. Приведем в пример его высказывание о визитных карточках: «Очень жаль, что мы, несмотря на нашу охоту подражать во всем иностранцам, не перейдем у них обычая печатать или писать свои адреса на визитных карточках». Он указывал на содержательные различия в обычаях и смысловые — в выражениях русских и заимствованных, например: «...затруднительно московским жителям выполнять эту общественную обязанность, название которой не переведено еще на русский язык... Посещать и *делать визиты* вовсе не одно и то же: посещают обыкновенно своих родных, друзей и приятелей, а визиты делают своим знакомым... Мы посещаем людей, которых любим, для того чтоб с ними повидаться, и делаем иногда визиты таким знакомым, с которыми не желали бы часто встречаться и на улице».

М.Н. Загоскин отмечал также моду на псевдонимы: «— ... вы объявите свое имя?»

— Нет, я хочу назваться в моих заметках Бельским. — А, понимаю-с! это нынче в моде-с. Вам угодно быть вот этим... как бишь они называются? — Псевдонимы».

Писатель заметил ослабление активности в употреблении слова *меланхолия*: «... грусти... нет! ей не о чем грустить. Ну, так и быть скажу: меланхолии — хотя это слово давно уже вышло из моды!».

Но обратимся к более пространным рассуждениям М.Н. Заголкина по поводу иноязычных заимствований. В «Выходе третьем» есть очерк «1. Несколько слов о наших провинциалах», вот пример из него: 'Я обратился к мужу и начал ему доказывать, что иностранные слова с русским окончанием можно употреблять только в таком случае, когда в нашем языке не найдется равносильного слова, которое выражало бы ту же самую мысль. — ... И мы также должны усваивать нашему языку только те слова, без которых решительно не можем обойтись. К чему, например, вы называете гостиную — *салон*; говорите вместо всеобщего — *универсальный*, вместо преувеличения — *экзажерация*, вместо понятия — *концепция*, вместо обеспечения — *гарантия*, вместо раздражения — *ирритация*, вместо посвящения — *инициация*, вместо принадлежности — *атрибут*, вместо отвлеченный — *абстрактный*, вместо поразительно — *франонтно*... благодаря успехам просвещения и развитию нашей словесности все эти чужеземные слова, за исключением немногих, исчезли из русского языка; нынче никто не скажет, что он ходил стрелять из *фузеи* или что мы под Малым Ярославцем одержали над французами знаменитую *викторию*. Кто нынче будет уверять кого-нибудь в своем *респекте* и *венерации*? Кому придет в голову *эстимовать* отличный *мерит* своего друга, хвастаться своим *рангом* или сделать *презент* своей *аманте*! Кто в наше время назовет заставу — *барьером*, штык — *бойонетом* и предвещанье — *прогностиком*? Мой ученый барин разгневался и назвал меня *ограниченным пуристом*. Вероятно, он занял это вежливое выражение из того же самого журнала, из которого почерпал всю свою премудрость». Три вывода следуют из этого рассуждения: 1) иноязычное слово необходимо при отсутствии русского соответствия; 2) развитие

просвещения и отечественной словесности само по себе обеспечивает отбор иноязычных заимствований; 3) излишнему притоку заимствований уже в то время способствовала публицистика.

Особое место в размышлениях М.Н. Загоскина занимает помещенное в «Выходе третьем» под номером 5 «Письмо из Арзамаса»: оно написано как ответ издателя Б.И. Вельского на письмо своего «старинного приятеля Андрея Яковлевича Миронова», который озадачен новыми иностранными словами, вполне заменяемыми русскими тождесловами: «Конечно, Богдан Ильич, в ученом свете часто создаются новые науки и делаются важные открытия, которым надобно же давать какие-то названия — да неужели их нельзя найти в нашем собственном языке... Вот, например, искусство посредством солнечного света делать верные снимки с лиц человеческих и с разных других предметов французы называют дагерротипом (фу, батюшки! насилиу выговорил!). А ведь мы умели же это новое изобретение назвать по-русски — и, воля ваша! слово «светопись» понятнее и вернее французского слова «дагерротип», которое, как я слышал, ровно ничего не значит». Если иметь в виду, что *дагерротип* произошло от имени изобретателя Дагера (1787—1851), что русское *светопись* лучше соответствует более позднему и устойчивому *фотография*, то придется согласиться, что герой Загоскина прав. Как прав он, и заметив умножение числа научных терминов в эпоху становления многих отраслей русской науки и техники.

Ответ Вельского начинается с изложения его позиции по поводу иноязычных заимствований: «Я ужаснулся, когда окинул взглядом бесконечный список этих исковерканных и перековерканных на русский лад иностранных слов ... это безобразное полчище *тенденций, консеквенций, субстанций, абстракций, эксплуатаций* ... почти каждое из них можно перевести буквально на русский язык или по крайней мере заменить русским словом, заключающим в себе тот же самый смысл».

Далее в дело вступает лексиколог Бельский — Загоскин: «Позвольте мне на первый случай истолковать вам значение только тех слов, которые, как вы сами говорите, более других тревожат ваш любознательный и пытливый ум. Вот эти слова: *тен-*

денция, субстанция, цивилизация, гуманность, юмористика, меркантильная индустрия, ирритация и беллетристика!» (Там же). Итак, задача — «истолковать значение» слов, которые «более других тревожат... любознательный и пытливый ум». Действительно, выбранные слова относятся к культурным терминам середины XIX в.: те или иные реалии, явления набирали популярность в обществе, а общепризнанных наименований они не имели.

Оценим схему анализа слова, избранную М.Н. Загоскиным, на примере разбора первого по списку слова *тенденция*. «Тенденция (tendance) — по-русски *наклонность*, а в некоторых случаях — *направление*. Преемники Тредияковского, вероятно, написали бы: «Тенденция умов совершенно гармонировала с действиями правительства» или «Жители Океании имеют прононсированную тенденцию к воровству». А русский человек скажет: «*Направление* умов совершенно *согласовалось* с действиями правительства»; «Жители Океании имеют явную *наклонность* к воровству». Лет около ста тому назад, когда несчастный русский язык напоминал вавилонское столпотворение, слово *тенденция* было неизвестно, но вместо него часто употреблялось слово *пропензия* (propention), которое значит почти то же самое».

Теперь о слове *цивилизация*. «*Цивилизация* (civilisation) — производное речение от слова «civil», то есть вежливый, общежительный: следовательно, «civilisation», или «цивилизация», значит одно и то же, что наше *образованность*, а в смысле более обширнейшем — просвещение ... то есть — общежительность, вежливость, науки, художества, изящные искусства в образ мыслей, сходный с понятиями нашего в». Здесь наш автор опоздал со своими возражениями лет на сто, да и значение слова *цивилизация* в XIX в. по сравнению с XVIII в. обогатилось. Еще в XVIII в. слово было заимствовано из французского в форме *сивилизация*, затем произошло выравнивание по латино-немецкому типу [5]. Во французском языке civilisation — суффиксальное производное от civiliser «цивиловать, просвещать» из лат. civilis — «учтивый, вежливый; гражданский», суффиксальное образование от civis «гражданин» [6].

Придется поправить Загоскина и по поводу слова *гуманность*. Вот его рассуждения об этом слове: «Гуманность... в этом слове не всякий француз узнает свое «humanite», тем более что при переделке на русские нравы оно получило смысл гораздо обширнейший. Гуманность можно перевести русским словом *человечность*, то есть способность сочувствовать всему, что составляет истинное достоинство человека, или вообще любовь ко всему человечеству, и, разумеется, в самом высоком значении этого слова. Гуманность заменила у нас другое выражение, которое уже несколько поизносилось, а именно *космополитизм*». Толкование слова *гуманность* у Загоскина очень близко к современному смыслу: «Гуманность — любовь, внимание к человеку, уважение человеческой личности; доброе отношение ко всему живому» [7]. Однако, Загоскин не прав относительно переделки этого слова из французского. Оно заимствовано в первой половине XIX в. из латинского через немецкое посредство [6], хотя *гуманизм*, *гуманный* были и раньше. Что касается связи *гуманности* с *космополитизмом*, то *космополитизм* не фиксируется «Словарем русского языка XVIII в.», а слово *космополит* (с 1763 г.) значило «человек, не считающий себя принадлежащим к какой бы то ни было национальности, признающий весь мир своим отечеством» [8: 10]. Таким образом, *гуманность* не могло быть семантической заменой «поизносившегося» *космополитизма*. Кстати, далее в тексте сам автор писал: «господа *космополиты*, сиречь — *граждане вселенной*», но продолжает настаивать, что «*гуманный* человек и космополит почти одно и то же».

По мнению Загоскина, слово *филантропия* близко по смыслу к слову *гуманность*. «Здесь кстати упомянуть о *филантропии*, близкой родственнице этой модной *гуманности* и заштатного *космополитизма*. Филантропия, — греческое составное слово, которое бог знает почему попало в наш язык ... У нас есть звучное прекрасное слово «человеколюбие», которое и по смыслу, и по составу своему совершенно одно с греческим словом «филантропия», составленным так же, как русское, из двух слов: «любовь» и «человек» ... Я согласен, что язык обогащается, когда мы переносим в него слова, заключающие в себе новую мысль или понятие,

для которых в нашем языке нет верного и приличного выражения; но если мы свое коренное слово заменяем без всякой нужды совершенно тождественным иностранным словом, то, конечно, вовсе не обогащаем, а разве истощаем и портим свой собственный язык».

По сравнению с порядком анализа ранее рассмотренных слов здесь появляются дополнительные сведения:

1. О родстве слова *филантропия* со словами *гуманность* и *космополитизм*.

2. Об этимологии и морфемной структуре описываемого слова.

3. Указание на язык-посредник и на мотивацию усвоения слова языком-посредником.

4. Сравнение семантики и структуры слова в родном языке и в русском языке.

5. Вывод о целесообразности заимствования на основе сравнения заимствованного и соответствующего исконного русского языка.

6. Общий вывод об условиях отбора заимствований, обогащающих родной язык.

Разбор слова *юмористика* сопровождается комментариями по поводу национальной природы юмора — балагурства: «Юмористика — производное речение с английского слова «юмор», которое, в свою очередь, происходит от французского «humour» ... Вот что понимают англичане под словом «юмор», разумеется, в том значении, о котором идет речь. Английский словарь «Royal Dictionary english and french» определяет смысл этого слова следующим образом: «Юмор — свойство воображения, дающее всему оборот забавный, оригинальный и фантастический; особенная способность ума показывать все в *потешном, смешном и шутовском* виде (grotesque)»; ... Не правда ли, что этих людей зовут у нас *балагурами*! ... английский юмор и русское балагурство, или веселость, в существе своем одно и то же, и если они выражаются различным образом, так это оттого, что каждый народ имеет свою собственную народную физиономию ... Впрочем, я вовсе не предлагаю заменить русским словом «балагурство» английское слово «юмор». Пусть оно останется в нашем языке для назва-

ния веселости, собственно принадлежащей англичанам. Я замечу только, что производное от него слово юмористика составлено весьма неудачно ... никому еще не приходило в голову составлять из этих частных достоинств всякого хорошего сочинения какие-нибудь особенные отрасли словесности». Далее в противовес юмористике приводится экспериментальное слово *удалистика* — от *удаль*. Известно, что потенциальные возможности русской словопроизводной системы и метод лингвистического эксперимента уже эксплуатировались в свое время участниками дискуссии сторонников «нового слога» и представителями «Беседы любителей русского слова». Попутно укажем на одну неточность у Загоскина: *юмор* — англоязычное заимствование [3: IV; 7: 4], а *юмористики* может быть соотнесена с немецким *umoristik* и с французским *humoristique* [7].

Далее наш автор самым кратким образом поясняет следующие слова: «*Ирритация* — по-русски слово от слова: раздражение. *Меркантильная индустрия* также слово от слова: мелочная промышленность».

Более пространно, в сравнении с выражением *изящная словесность* трактуется слово *беллетристика*: ««Неужели, — спросите вы, — эта бесстыдница, мадам беллетристика, то же самое, что наша чинная барыня, изящная словесность?» Жаль, Андрей Яковлевич, что вы не знаете иностранных языков, а то бы я попросил вас заглянуть во французский академический словарь, и вы увидели бы тогда, что слово «*belles lettres*», от которого состряпали «беллетристику», значит все то же, что наше слово «изящная словесность» ... сочинили еще слово «беллетрист», которое не может даже похвастаться и своим иноземным происхождением, потому что у французов нет слова «*un homme de belles lettres*», а есть только «*un homme de lettre*» — по-русски *словесник*, да еще слово «*un homme lettre*», то есть человек ученый».

Стремление пояснить иноязычное заимствование наблюдается и в других очерках из цикла «Москва и москвичи»: «...по обеим сторонам дивана трельяж, то есть деревянные решеточки, оббитые плющом»; «С каким тактом, или, говоря по-русски, с какой сметливостью обходится она с каждым из своих гостей»; «мы

вошли в буфет, то есть в столовую комнату, обставленную крутом прилавками».

В заключение еще раз отметим, что столь подробной схемы описания слова, как у Загоскина, нет в лексикографических сочинениях и в немногочисленных лексикологических заметках XIX в. Наверное, опыты Загоскина полезно учесть и современным исследователям лексики XIX в. Закончу таким интимным признанием самого М.Н. Загоскина, которое имеет отношение и к русскому языку: «Я хотел, чтоб девица, которой я отдам мою руку, не походила ни на французскую мадемуазель, ни на немецкую фрейлен, ни на английскую мисс, а была бы просто образованная, просвещенная русская барышня, которая любила бы свое отечество, свой язык и даже свои обычаи».

Примечания

1. Биографию Загоскина см.: Русские писатели: 1800—1917. Биографический словарь. — М., 1992. — Т. 2.
2. *Загоскин М.Н.* Москва и москвичи: Записки Богдана Ильича Бельского. — М., 1988.
3. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка. — М., 1989. — Т. I.
4. *Загоскин М.Н.* Избранное. — М., 1988.
5. *Биржакова Е.Э., Воинова Л.А., Кутина А.А.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в.: языковые контакты и заимствования. — Л., 1972.
6. *Шанский Н.М., Боброва Т.А.* Этимологический словарь русского языка. — М., 1994.
7. Словарь иностранных слов и выражений. — М., 2000.
8. Словарь русского языка XVIII в. — СПб., 1998. — Вып. 10.

Епископ Игнатий — духовный писатель XIX в.

Петровские реформы привели к падению роли церкви в государстве, но развитие духовного стиля в XVIII в. еще успешно продолжалось, поскольку церковь была неразрывно связана с прогрессирующим просвещением. Постепенно светское начало брало в обществе верх, эта тенденция была усилена распространяющей-

ся идеологией нигилизма — русской разновидности либерализма. Духовно-богословская жизнь ушла из светских залов в келейную тишину отдельных обителей, среди которых в XIX в. заметно выделялись Оптина пустынь, Троице-Сергиева лавра, Сергиевская пустынь, Николо-Бабаевский монастырь. Здесь в одиночестве творили духовный подвиг немногочисленные церковные писатели. На основе их трудов существовала и развивалась церковно-проповедническая литература и сама проповедь как искусство устной речевой импровизации.

Этот период истории церковно-проповеднического стиля оказался забыт исследователями. В XIX в. исторической стилистики вообще не существовало, а в традициях XX века было нормой не включать в систему стилей литературного языка церковно-проповеднический стиль. Между тем без учета его функционирования и без оценки его роли непонятны и необъяснимы многие явления русской словесной культуры XIX в., остается без ответа целый ряд актуальных вопросов: какова основа ораторского искусства эпохи? каковы корни русского эпоса девятнадцатого столетия? каков арсенал поэтических средств и приемов письменной культуры и речевого этикета эпохи?

Попытка воссоздать стилевой ландшафт XIX в. немедленно приводит к необходимости обращения к духовному стилю и его творцам. Среди них в середине столетия самое заметное место принадлежит епископу Игнатию, как по объему, так и по качеству его литературного творчества, а также по благоприятным возможностям воздействия на литературную практику эпохи (его сочинения были опубликованы почти в полном объеме в 1881 г.).

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов — назван в честь святого Димитрия Прилуцкого) прожил на земле 60 лет (1807—1867). Как отмечали его ближайшие ученики, «в жизни таких людей резко выражается одна отличительная, характеристическая черта». Для святителя Игнатия такой особенной чертой был иноческий духовный подвиг. Не случайно через 20 лет после его смерти Николай Лесков посвятит его праведнической жизни рассказ «Инженеры-бессребреники». В духовных сочинениях, созданных владыкой Игнатием, утверж-

дается аскетически-богословское учение — учение о внутреннем совершенствовании человека в монашеском быту и об отношении человека к другим духовным существам. Духовно-нравственные сочинения преобладают в литературном наследии святителя.

Сразу после окончания инженерного училища в возрасте двенадцати лет он подает в отставку и, несмотря на осуждение родителей, готовится к пострижению. Будучи послушником в Александро-Свирском монастыре, а затем в Плоцанской пустыни Орловской епархии он начинает заниматься литературным творчеством: пишет что-то среднее между беллетристикой и религиозной философией («Сад во время зимы», «Древо зимою пред окнами келий»), но первое сочинение даже по названию вполне определенно выражало намерения начинающего проповедника: «Некоторые советы к сохранению Заповедей Господних». Заметим, что Дмитрий в юности провел несколько месяцев 1829 г. в Оптиной пустыни и потом всю жизнь поддерживал связи с монахами этой знаменитой обители. И вот как характеризует современник богословскую подготовку юного инок: «не взирая еще на молодые лета, видно было, что Брянчанинов много читал отеческих книг, знал весьма твердо Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, Добротолюбие и писания других подвижников».

В период пребывания в Сергиевой пустыни (под Санкт-Петербургом) в качестве ее руководителя (24 года) духовной потребностью Игнатия было литературное творчество: здесь написаны, в частности, такие выдающиеся богословские тексты, как «Блажен муж», «Песнь под сению креста», «Молитва преследуемого человеками», «Плач инок». Игнатий мечтал после Сергиевой пустыни поселиться в Оптиной пустыни, но в 1857 г. его назначают епископом Кавказским и Черноморским. В Ставрополе Игнатий пишет «Приношение современному монашеству» — «духовное заветование на духовные блага», как он сам определял эту книгу. «Духовным благом называю монашество. Книга содержит в себе правила для наружного поведения иноков и советы им о душевном подвиге или делании. Могу назвать сочинение это моею таинственной исповедью» (цитаты из сочинений св. Игнатия даются по изданию: Святитель Игнатий Брянчанинов. — М., 1993. — Т. I—VII).

В связи с болезнью епископ Игнатий попросил отставить его от епископского служения и направить в Николо-Бабаевский монастырь Костромской губернии, где и находился с 13 октября 1861 г. до конца своих дней. Здесь написал оригинальное «Слово о смерти», составил большой по объему «Отечник» — сборник поучений отцов церкви. В 1864 г. издал два тома «Аскетических опытов», в 1867 — вышли следующие два тома: «Аскетическая проповедь» и «Приношение современному монашеству». Здесь же, в Бабаевском монастыре, утром 30 апреля 1867 года и закончилась земная жизнь праведника. В этом монастыре он и похоронен.

Будучи от природы человеком очень способным, святитель Игнатий тем не менее всю жизнь настойчиво совершенствовал природные дарования. Так, интерес к литературному творчеству ознаменован настойчивым изучением трудов христианских и светских просветителей. В Вологодской областной библиотеке хранится экземпляр книги М.В. Ломоносова «Краткое руководство по риторике» с владельческой записью Дмитрия Брянчанинова — возможно, этот труд сопровождал его с детства. И он, действительно, был блестящим ритором-проповедником, хотя его роль в развитии церковно-проповеднического стиля русского литературного языка до сих пор не оценена.

Подчеркнем разницу между церковнославянским языком, известным и широкоупотребительным на Руси с конца X в. (см. такие канонические богослужебные тексты, как Евангелие, Апостол, Псалтырь и др.) и церковно-проповедническим, или духовным, стилем русского литературного языка. Наиболее яркий жанр этого стиля — *проповедь (гомилія)*. Основное назначение проповеди — нести слово Божие в мир, потому и текст должен быть общедоступным. У проповеди как жанра есть три особенности: чистый русский язык, употребление высоких риторических средств, импровизационный характер речи. Но в проповеди немало библейских цитат, церковнославянский язык здесь может выступать и в чистом виде как *lingva sacra* (язык культа), а затем перекладываться на русский с элементами толкования. Таким образом, текст проповеди имеет три функции: воздействие, популяриза-

ция, приобщение. В этих целях для проповеднических текстов характерны апелляция к слушателям, приемы диалогизации речи (повелительные формы: *смотрите, поднимайтесь, пусть каждый смотрит себя*; вводные конструкции: *как вы знаете*; риторические вопросы; повторы и синтаксический параллелизм; условные конструкции; развернутые метафоры на основе библеизмов). Удивительно гармонично использует эти приемы наш проповедник.

Один из лучших образцов церковно-проповеднического стиля XIX в. — двухтомное сочинение святителя Игнатия «Аскетические опыты». Каждый текст здесь — стилистический шедевр, а содержание поражает искренностью, глубиной религиозного чувства и блестящим знанием Священного Писания и святоотеческой литературы. Святитель работал над книгой почти двадцать лет. Вот как он видел структуру и содержание каждого из четырех разделов этой книги (по письмам от 1 дек. 1846 и 11 янв. 1865 годов): «1. Приготовление к причащению Святых Христовых тайн. Об Иисусовой молитве, о смирении, о монашестве. 2. Элегии. Поэтические сочинения: Плач, Блажен муж, Чаша, Зрение греха своего. 3. Внутренние действия религии Христианской. Статьи Богословские (о евангельских заповедях). 4. Нравственные советы. О христианской нравственности и философии». Но в книге он не стал группировать статьи по разделам, что сообщило тексту «Опытов» характер свободной импровизации. В письме И.И. Глазунову от 3 марта 1864 года автор «Опытов» писал: ««Аскетические опыты» — книга практическая. Она единственная потому, что со времени введения в России образования никто еще не писал в этом роде. Она есть сборник учения святых отцов православной церкви о главных добродетелях христианских и о духовном подвиге». Что же касается особенностей слога, то святитель сообщал: «Каждая часть имеет свой тон»; «Разнообразие слога нахожу неизбежным». По поводу «Аскетической проповеди» позже он заметил: ««Аскетическая проповедь» имеет свой отдельный слог». Таким образом, индивидуализация «тона (слога)» каждого отдельного текста являлась сознательным помыслом автора.

Авторский замысел «Аскетических опытов» сложился сразу и не менялся, хотя «чистил» (это любимое слово писателя Брялча-

нинова) он этот труд многократно. Уже в 1846 г., оценивая одну из статей, он признавался: ««Чаша Христова» — таких статей у меня написано 15, назначаются составить книгу «Мой дар друзьям моим». Образ изложения, наружная форма, самый слог — может быть, новость в духовной русской литературе. Хочу, чтоб книга удобоприступна была каждому, как друг; и чтоб гордый ум смиряла высотой истин и глубиною чувств: друг должен быть с характером». Все эти качества в двухтомной книге есть. В первый том вошли 53 статьи, во второй — 21. Часть из них носит явно биографический характер, как «Плач мой» — о печали души, стремящейся к Богу и преодолевающей препятствия ради этого. Большинство текстов — это нравственные советы равнодушно-го друга.

Однако вернемся к риторическому аспекту «Опытов», а именно — к разнообразию слога. Прежде всего это достигается разнообразием жанров: самим автором названо десять жанров, но фактически их больше. Какие-то отражают общелитературную практику эпохи, другие — результаты влияния традиций духовной литературы, но важно, что все они соответствуют русскому риторическому идеалу, как его толковали в XVIII и XIX вв.

Два произведения обозначены как *дума*. В «Думе на берегу моря» реальный образ Балтийского моря, наблюдаемый настоятелем Сергиевой пустыни, становится основой для метафоры житейского моря, бури страстей, от которых автор удаляется в ограду святой обители. Статья «Голос из вечности» носит подзаголовок «Дума на могиле», она написана в 1848 г. в Сергиевой пустыни в связи с кончиной близкого Игнатия с юности человека и представляет собою первый по времени опыт изложения христианского учения о смерти. Этой теме впоследствии он посвятил целый том под названием «Слово о смерти».

Несколько раз в своих статьях святитель использует жанр *размышления*, особо популярный в философской и религиозной литературе XVIII–XIX вв. («Размышление о смерти», «Размышление при захождении солнца», «Размышление, заимствованное из I послания св. апостола Павла к Тимофею, относящееся преимущественно к монашеской жизни»).

Используется древний, библейских времен жанр *песни* — «Песнь под сению креста». Это сочинение создано, по признанию автора, под влиянием пятнадцатой главы Исхода.

Столь же древен и жанр *плача*, предполагающий сугубо личные переживания автора. К этому жанру особое отношение и у святителя Игнатия. Он пытался осмыслить духовную сущность плача как экстатического состояния и для этого поместил в «Опытах» единственный образец «учения» как риторического жанра, посвятив именно плачу, — это «Учение о плаче преподобного Пимена Великаго». По Игнатию, плач — путь покаяния грешника, душевный подвиг инок: «*Помилуй мя* — это выражение внедрившегося в душу плача». Задуманный еще в 1830 г. в Семигородней пустыни послушником Дмитрием Брянчаниновым «Плач инок» был значительно исправлен и пополнен епископом Игнатием в 1866 г. в Николо-Бабаевском монастыре Костромской епархии. Кстати, другое сочинение — «Плач мой» тоже был написан в этом монастыре, но в 1847 г. в период отпуска, полученного настоятелем Сергиевой пустыни для поправки здоровья. Обратим внимание на ритмическую организацию текста, на гармонию повторов, на градацию усиления: «Плачу умом, плачу сердцем, плачу телом, плачу всем существом моим; ощущаю плач не только в груди моей, — во всех членах тела моего... Душа моя! Прежде нежели наступило решительное, неотвратимое время перехода в будущность, позаботься о себе. Приступи, прилепись к Господу искренним, постоянным покаянием, жительством благочестивым по Его всесвятым заповеданиям».

Особое воодушевление святителя Игнатия вызывал жанр *слова*, особенно при создании богословского раздела «Аскетических опытов». В подтверждение можно проследить хотя бы за названиями отдельных сочинений: «Слово утешения к скорбящим инокам», «Слово о страхе Божием и о любви Божией», «Слово о келейном молитвенном правиле», «Слово о церковной молитве», «Слово о молитве устной и гласной», «Слово о поучении или памяти Божией», «Слово о молитве умной, сердечной и душевной», «Слово о молитве Иисусовой», «Слово о спасении и христианском совершенстве», «Слово о различных состояниях естества человеческого по отношению к добру и злу».

Приближается по содержанию и по назидательному тону к этому роду статей *послание* — так оформлен один, тоже биографический, текст 1847 г. под названием «Послание к братии Сергиевой пустыни из Бабаевского монастыря».

Такой же характер носит *беседа*, единственный опыт которой называется «О молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником».

Еще два использованных святителем жанра более связаны с богослужебной практикой: *чин* и *молитва*, но это только внешняя форма. В действительности «Чин внимания себе для живущего посреди мира» посвящен теме углубленного внимания к мыслям о Боге, обязательности отвлечения от мирского во время молитвы. Название *молитва* имеет один текст — «Молитва преследуемого человеками». Он и оформлен как молитва и выражает христианскую идею благого отношения к людям, наносящим оскорбления, ибо Бог избирает их орудиями наказания некоторых грешников. Текст состоит из четырех частей и имеет все риторические свойства молитвенного канона: 1) благрение Господу за ниспосланные испытания, 2) прошение о благословении и наградах для тех, кого он избрал орудиями наказания грешника, 3) просьба о прощении и даровании милостей, 4) славословие Господу и упование на милость к грешнику. Заметим, что сочинение молитвенных текстов для себя было нередкой практикой в XIX и даже XX вв. (см., например, молитву старцев Оптиной пустыни и т.п.).

В остальных случаях автор не называет жанра текста, но, судя по внешним признакам, в его творчестве преобладали *беседы* и *слова*, т. е. распространенные жанры «учительной» литературы, ведь и вся книга для автора — это «нравственные советы».

Заслуживает внимания текст «Посещение Валаамского монастыря», где тоже наблюдается следование традициям православной литературы, в частности жанру *хождения по святым местам*.

Сравним еще соотношение жанров в «Аскетической проповеди». Сама по себе проповедь — жанр *строгого назидания*, но в книге под названием «Аскетическая проповедь» помещены статьи разных жанров. Преобладают *поучения* — их 39, а в «Аскетических опытах» их не было совсем. К жанру *слова* отнесены семь

текстов, к жанру *беседы* — четыре, два текста автор определяет как *речь*, помещено одно *изложение учения*.

В древнерусской православной практике преобладали два жанра: *поучение* (дидактическая, учительная речь) и *слово* (торжественная, панегирическая, похвальная речь). Именно эти жанры были любимы нашим автором. Таким образом, следование традициям русского риторического идеала как идеала православного — отличительное свойство сочинений святителя Игнатия и церковно-проповеднического стиля XIX в. в целом.

А.П. Чехов в работе над рассказом «Невеста» (по рукописным и печатным вариантам)

Избирая объектом исследования разные редакции рассказа «Невеста», мы исходим из тех соображений, что наблюдение за творческим процессом автора дает больше сведений о языке и стиле писателя [1], чем изучение окончательного варианта произведения.

«Невеста» — последний рассказ А.П. Чехова и единственный рассказ, имеющий наибольшее количество сохранившихся рукописных и печатных редакций, причем вообще только два рассказа — «Кривое зеркало» и «Невеста» — имеют черновую и беловую рукописи.

Рассказ «Невеста» имеет:

- черновую рукопись со всеми исправлениями, сделанными в ней (поэтому мы используем термины «первоначальная» и «черновая») [2];
- беловую рукопись («беловая») [3];
- гранки первой корректуры, правленной автором (1 кор.); гранки второй корректуры, правленной автором (2 кор.) [4];
- журнальный текст, отличающийся от исправленного текста гранок второй корректуры («окончательная») [5].

Кроме того, в «Записных книжках» есть заметки, относящиеся к этому рассказу [6].

Работа писателя над рассказом проходила в два этапа:

первый — работа над черновой и белой рукописью (правки, изменяющие сюжет или суть отдельных образов, но в основном работа над языком и стилем);

второй — работа над корректурами (Чехов отмечал: «Корректуру я читаю не для того, чтобы исправлять внешность рассказа; обыкновенно в ней я заканчиваю рассказ и исправляю его, так сказать, с музыкальной стороны» [ПСС, 17. 174]).

Общее количество правок (1 ч. рассказа — всего 105 предложений, без правки — 15; 2 ч. — всего 95 предложений, без правки — 13 и т. д.) убеждает нас в том, что Чехов до конца творческого пути был предельно требователен к языку своих произведений.

Предварительно следует оговориться, что текст произведения мы представляем как систему, расчленение которой производится только в целях исследования. Наша задача облегчалась тем, что мы следовали за Чеховым: единицей анализа у нас являются слово, словосочетание, предложение, подвергшиеся правке.

В дореволюционной литературе встречаются только отдельные замечания по этой проблеме [7]. Язык и стиль Чехова стал изучаться в основном в XX в. Внимание исследователей привлекают следующие вопросы:

- роль А.П. Чехова в истории русского литературного языка;
- язык Чехова (элементы общепнародного языка, которые использованы писателем в его произведениях);
- стилистические функции лексических и грамматических средств языка в произведениях писателя;
- стиль различных литературных жанров у Чехова;
- язык и стиль отдельных произведений;
- особенности различных речевых структур в произведениях писателя: речь персонажей, особенности авторского повествования и т. п.;
- приемы работы Чехова над языком и стилем, изучение творческой лаборатории писателя;
- Чехов о языке и стиле.

Основной конечной целью изучения всех этих вопросов является описание индивидуального стиля писателя, условий и закономерности его эволюции [8]:

Чехов уничтожал свои черновики, поэтому попытки проникнуть в его творческую лабораторию малочисленны. Известна серия статей Т.И. Пабауской, положенная в основу ее кандидатской диссертации на тему: «О работе А.П. Чехова над языком произведений в 90-х — начале 900-х годов», где характеризуются типы правок, приемы работы Чехова над языком на материале редакций трех рассказов: «В море», «Кривое зеркало» и частично рассказа «Невеста» [9]. Т.И. Пабауская считала, что материал, заключенный в рукописях и корректурах рассказа «Невеста», настолько обширен, что его исследование должно явиться основой отдельной большой работы. Статьи Т.И. Пабауской интересны тем, что в них сопоставляются редакции одного произведения, отделенные друг от друга многими годами, что позволяет сделать выводы об эволюции в языке и стиле Чехова, об изменениях его взглядов на язык и стиль художественного произведения. Но, к сожалению, приемы работы А.П. Чехова над языком произведений изображаются упрощенно: сокращение первых вариантов текста; замена одних речевых средств другими; введение в текст новых речевых средств.

Заслуживает упоминания статья Н.Г. Стрелкова, осуществившего тонкие наблюдения над редакциями рассказов «Шуточка» и «Переполюх» [10]. Небольшая работа Д.Д. Авруха представляет собой попытку исследовать глагольные лексико-синонимические замены в разных редакциях рассказов Чехова, хотя следует заметить, что все замены Д.Д. Аврух объясняет только стремлением автора к смысловой точности [11].

Переходим к анализу правок в различных редакциях рассказа «Невеста».

1. Правки, приводящие текст в соответствие с нормами литературного языка.

1.1. «Нейтрализация» повествования (устранение просторечных или неуместно употребленных разговорных элементов).

При анализе этой группы замен мы стремились учесть то обстоятельство, что границы между стилистическими подразделениями исторически изменчивы [12]: воспринимаемое сейчас как «просторечное» могло быть в начале века диалектным или

разговорным, «разговорное» могло быть нейтральным, литературным.

Стремясь к чистоте языка, Чехов устраняет из текста просторечные элементы, так как основными принципами в работе Чехова над словарем являются «стремление к народности (но не простонародности), строгая проверка всякого лексического факта с точки зрения его общенародности и литературной нормы, подбор наиболее правильного для данного контекста слова» [13]. Эти принципы соблюдаются не только в отношении словаря, но и при выборе форм словосочетаний, синтаксических конструкций и т. д.

Очевидно, такой характер носит замена предлога «с» предлогом «в» в следующем предложении: 3 ч. «Портрет отца Андрея в камилавке и *с орденами*» (первоначальная). — «Портрет отца Андрея в камилавке и *в орденах*» (черновая).

ССРАЯ дает пример такого предложно-именного сочетания с пометой «устар». Характерно, что этот пример взят из произведений А.Н. Толстого [14]. Можно предполагать, что литературной нормой было сочетание с предлогом «в», сочетание с предлогом «с» — признак разговорной речи.

Устранение частицы «уж», вносящей в текст разговорный оттенок, также не является случайным для Чехова: 3 ч. «Он держал ее за талию, говорил так ласково, *уж* так был счастлив...» (первоначальная). — «Он ... говорил так ласково, скромно, так был счастлив» (черновая). См. пример замены частицы «уж» частицей «уже»: 2 ч. «Сторож *уж* давно не стучит» (черновая). — «Сторож *уже* давно не стучит» (бел.). Интересно отметить в этой связи замечание А.П. Чехова по поводу работы над другим рассказом: «Исправить я мог только корректурные ошибки: «уж» заменил словом “уже”» [ПСС, 15, 288].

4 ч. «...а *когда третий звонок*, вы войдете в вагон» (2 кор.). — «...а *во время третьего звонка* вы войдете в вагон» (оконч.). В окончательной редакции Чехов заменяет неполное придаточное времени, свойственное разговорному стилю, предложно-именным сочетанием с составным предлогом.

Ту же цель преследует отказ от разговорных присоединительных элементов, ср.: 6 ч. «Я вам так обязана, *и сказать нельзя*»

(первоначальная). — «Я вам *так* обязана» (черновая). Здесь, как и в некоторых других случаях, очевидно, несколько причин правки, но среди прочих есть и отмеченная нами.

1.2. Незначительное количество исправлений касается выбора формы при наличии двух вариантов в пределах нормы. Это относится к именам существительным, колеблющимся в своем родовом оформлении. Интересно отметить, что Чехов в ряде случаев избирает вариант, в наше время ставший единственным выразителем литературной нормы: 1 ч. «*На рояли*» (бел.) — «*на рояле*» (оконч.); 2 ч. «*На рояли*» (бел.) — «*на рояле*» (оконч.). В начале XX в. слово существовало в двух вариантах: в форме мужского и женского рода [15]. В настоящее время форма женского рода является устаревшей [ССРАЯ, т. 12, ст. 1495].

Еще один подобный пример: 1 ч. «*Вошли в зал*» (1 кор.). — «*Вошли в залу*» (оконч.). В.И. Чернышев указывал на существование слова в двух вариантах с различием в оттенках значения: зала — комната в доме, предназначенная для приема гостей; зал — в этом значении устаревшее [16].

1.3. Устранение иноязычной лексики. Примеры, связанные с иноязычными словами, не представляют отдельной большой группы. Иноязычная лексика свойственна, как правило, речи Нины Ивановны. Но даже и в этом случае текст не перегружен иноязычными лексемами. Интересно замечание А.П. Чехова в письме к А.М. Горькому по поводу употребления подобных слов: «Я Вам не о грубости, а только о неудобстве иностранных, некоренных русских или редко употребляемых слов» [ПСС, т. 18, с. 1]. Таким подходом к иноязычной лексике можно объяснить устранение из речи Нины Ивановны слов «массаж» (2 ч., первонач.) и «индифферентизм» (2 ч., беловая), что способствует нейтрализации текста, освобождению его от книжных слов.

2. *Правки, обнаруживающие стремление писателя к краткости и точности выражения мысли.*

2.1. Краткость выражения, устранение тавтологии.

Знакомство с вариантами рассказа показывает огромную работу писателя над словом, заставляет вспомнить его знаменитое изречение: «Краткость — сестра таланта». Действительно, «пере-

ворошив» грудю словесного материала, Чехов добивался краткого, концентрированного выражения мысли. «Искусство писать, — считал Чехов, — состоит собственно не в искусстве писать, а в искусстве ... вычеркивать плохо написанное» [17].

Вот один пример кропотливой работы А. П. Чехова в этом направлении: «Она с тех пор, как кончила курсы в гимназии, проводила утро после чаю в совершенной праздности, не зная, что делать, часы, казалось, проходили медленно, но почему же с такой быстротой проносились и бесследно исчезали день за днем, год за годом» (2 ч. черн.). — «Как медленно идут часы! Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро. И какое лукавство, какой обман в этих томительно длинных часах, бесконечных утрах, когда на твоих же глазах с изумительной быстротой проносятся недели, месяцы, годы!» (бел.). — «Часы идут медленно. Надя давно уже встала и давно уже гуляла в саду, а все еще тянется утро» (окончат.).

Сокращение текста производилось тогда, когда отсутствие выпущенных слов не затрудняло понимания, а наоборот — требовало более активного внимания читателя, соучастия его в создании текста. Как правило, сокращение касается случаев смысловых повторов.

1 ч. «Саша вдруг засмеялся и, *чтобы не расхохотаться громко*, прижал ко рту салфетку» (черн.). — «Саша вдруг засмеялся и прижал ко рту салфетку» (бел.). Причина действий Саши может быть истолкована как желание скрыть признаки начинающегося туберкулеза.

1ч. «Хорошо у вас здесь, — проговорил он, стоя возле Нади и *не садясь*» (черн.). — «Хорошо у вас здесь, — проговорил он, стоя возле Нади» (бел.).

3 ч. (Саша — Г.С.) «... Я есть за обедом брезгаю, в кухне грязь невозможнейшая...

Он морищился брезгливо, стал везде видеть нечистоту.

— Да погоди, блудный сын!» (черн.).

«— Я есть за обедом брезгаю, в кухне грязь невозможнейшая.

— Да погоди, блудный сын» (бел.).

Чеховская работа над рукописью говорит о внимании писателя к неуместной, не оправданной стилистическими задачами тавтологии.

Первая группа таких правок — устранение повторов одних и тех же слов (3 случая).

2 ч. «Чудесные сады, фонтаны необыкновенные, *чудесные* люди» (бел.). — «Чудесные сады... *замечательные* люди» (оконч.); 4 ч. «Она... *пошла* к себе. Надя... *пошла* за ней» (черн.). — «Она ... *ушли* к себе. Надя *пошла* к матери» (оконч.).

Вторая группа — замена одного из двух однокорневых слов, употребленных рядом или в другом предложении: 2 ч. «...думала *Надя* ... всю грудь обдало холодком, залило чувством радости, *надежды*» (1 кор.). — «... думала Надя ... всю грудь ... залило чувством радости, восторга» (2 кор.); 6 ч. «*Подсадил* Надю ... вот и сам он *сел* рядом» (первонач.). — «Подсадил Надю. Вот и сам он *поместился* рядом» (оконч.).

Очевидно, стремлением к экономии языковых средств объясняются замены составных глагольных сказуемых синонимичными простыми глагольными сказуемыми: 1 ч. «Отец Андрей и Нина Ивановна *продолжали вести* разговор» (первонач.). — «... *продолжали* свой разговор» (черн.); 2 ч. «Под окном и в саду *стали шуметь* птицы» (первонач.). — «Под окном и в саду *зашумели* птицы» (черн.).

Подобной тенденцией объясняется и следующая замена: 3 ч. «... и все имело *такой вид*, что когда обставляли спальню...» (первонач.). — «... и *похоже было*, что когда обставляли спальню...» (черн.).

Эти правки свидетельствуют о понимании Чеховым основных тенденций развития языка. Неслучайность вышеанализируемых замен подтверждается высказыванием писателя: «А вы замечаете, как вообще развивается, улучшается язык! Заметили ли вы, как теперь выбрасывают слова, которые недавно считали невозможным опускать. Еще недавно, например, писали: «Несколько лет тому назад»; теперь же все пишут: «Несколько лет назад», выпуская слово *тому*. Выходит хорошо, и только удивляешься: зачем прибавляли это ненужное слово» [18].

2.2. Точность словоупотребления.

У Д.Н. Шмелева есть такое высказывание: «Выразительность художественного текста в значительной степени зависит именно от умения писателя отобрать из ряда возможных слов те, которые наиболее точно передают нужные оттенки мысли, наиболее полно соответствуют общему эмоционально-образному строю текста. Разумеется, что при этом отбор не ограничивается «синонимами» в собственном смысле слова. Для обозначения одного и того же явления могут быть привлечены слова, имеющие совершенно различное лексическое содержание» [19]. Толкования таких случаев правки не претендуют на абсолютную точность, так как они даются в связи с содержанием, которое осмысливается каждым человеком индивидуально, ср. замечание акад. Л.В. Щербы: «Все семантические наблюдения могут быть только субъективными» [20].

Прежде всего уточняющие замены касаются определений, выраженных различными частями речи: 5 ч. «... все прошлое, такое большое и *страшное*...» (первонач.). — «... все прошлое, такое большое и *серьезное*...» (черн.). — «Прошлое не было для Нади страшным, оно казалось значительным, важным» (черн.); 6 ч. «...своим веселым *улыбающимся* почерком» (черн.). — «Своим веселым *танцующим* почерком» (бел.). Определение «улыбающийся» к слову «почерк» кажется надуманным, а определение «танцующий» лучше передает характер почерка, индивидуальные особенности начертания букв. Данная правка объясняется стремлением к подбору определения, более точно передающего признак, а не просто к образному, меткому и красочному определению, как это считал Н.М. Шанский [21].

Примеры замен дополнений: 3 ч. «Вошла Надя в дом сердитая, нездоровая, думая о том, что весь вечер будут гости, что надо занимать их, разговаривать, улыбаться, слушать *музыку*, говорить о своей свадьбе» (черн.). — «Вошла Надя ... слушать *скрипку*, говорить...» (оконч.). Заменой дополнения вносится необходимая конкретизация и подчеркивается неприязнь Нади к жениху: «слушать музыку» — очень общо, так как играла и Нина Ивановна, причем на рояле, «слушать скрипку» — это только скрипку Андрея Ан-

дreichа, слушать ее неприятно Наде, потому что ей неприятен и скучен сам Андрей Андреевич.

4 ч. Нина Ивановна — Наде: «Ты успокойся, это у тебя от *расположения духа*» (первонач.). — «Ты успокойся, это у тебя от *нерасположения духа*» (черн.). ССРЯ объясняет: «Нерасположение — отсутствие расположения, недоброжелательное отношение к кому-нибудь»; «расположение — душевное состояние, настроение» [т. 7, с. 1138; т. 12, с. 719].

Смысловая точность достигается не только заменой слова, но и заменой формы: 4 ч. «Дайте же мне *свободы*» (черн.). — «Дайте же мне *свободу*» (бел.). В первом случае был употреблен родительный части, обозначающий, что действие переходит не на весь предмет, а на часть его. Чехов заменяет форму родительного части формой винительного падежа, в которой содержится указание на весь предмет, и тем подчеркивает отсутствие свободы.

Значительно количество глагольных замен (12 — по нашим подсчетам), отдельные из которых приближаются к синонимическим.

1 ч. «К Шуминым он *относился*, как к родным» (бел.). — «К Шуминым он *привык*...» (оконч.).

2 ч. «Туман ... *ползет* тихо к сирени» (первонач.). — «Туман тихо *подплывает* к сирени» (черн.). Движение массы тумана точнее передано глаголом «подплывает».

2 ч. «Она согласилась и *полюбила* его мало-помалу» (первонач.). — «Она согласилась и *оценила* этого человека» (черн.). Уточняется истинное отношение Нади к жениху.

3 ч. «Предсвадебная суета *утомляла* Сашу» (первонач.). — «Предсвадебная суета *раздражала* Сашу» (черн.). Именно «раздражала», так как Саше неприятна была возня с приданым, он жалел Надю, выдаваемую замуж.

6 ч. «...пошли в церковь *служить* панихиду» (первонач.). — «... пошли в церковь *заказывать* панихиду» (черн.). Служат панихиду священнослужители, а прихожане ее заказывают.

Часть исправлений сводится к замене одного предлога другим (всего четыре случая), например: 2 ч. «*За* окном и в саду стали шуметь птицы» (первонач.). — «*Под* окном и в саду ... » (черн.).

Шумины жили в двухэтажном доме, комната Нади была на втором этаже, поэтому вводится предлог «под», который позволяет точнее выразить пространственные отношения.

Смысловое уточнение достигается и введением предлога, причем чуткость писателя к нюансам смысла поразительна: 1 ч. «*накрывали стол для закуски*» (черн.). — «*накрывали на стол*» (1 кор.). — «*накрывали на стол для закуски*» (окончат.). Очевидно, развивается смысловое различие этих сочетаний, оно выражается в том, что «накрывать стол» значит и «готовить стол для еды», и просто «покрывать стол чем-нибудь». «Накрывать на стол» имеет значение «приготовить стол к еде, покрыв его чем-либо, расставив тарелки, приборы».

Писатель заменял не только отдельные слова, но целые обороты, различающиеся оттенками смысла: 1 ч. «с 16 лет она (Надя. — Г.С.) *дни и ночи* мечтала о замужестве» (первонач.). — «с 16 лет она *страстно* мечтала ... » (черн.). «Страстно» — это слово точнее передает настроение Нади, соответствует романтической восторженности ее натуры.

6 ч. «Нина Ивановна, постаревшая лет *на десять*» (черн.). — «Нина Ивановна тоже *сильно* постарела» (бел.). Чехов не конкретизирует в окончательном текста степень постарения Нины Ивановны, прошел только один год, и, очевидно, состарилась она не так сильно, как это указано в черновой рукописи.

Стремление к точности выражения достигалось не только подчеркиванием отдельных слов, оборотов и их заменой, но и добавлением новых, дополняющих, уточняющих мысль.

4 ч. «Я еще молода, вы из меня старуху сделали!» (черн.). — «Я еще молода, я *жить хочу*, а вы из меня ...» (оконч.). «Молода», т. е. «жить хочу», поэтому «жить хочу» — такое дополнение необходимо.

6 ч. «...все прежнее оторвано от нее, точно сгорело» (черн.). — «все прежнее оторвано от нее и *исчезло*, точно сгорело» (бел.). С добавлением «и исчезло» более естественно сочетается сравнение «точно сгорело».

2.3. Использование синонимов.

Эта группа правок непосредственно связана с предшествующей, так как одной из целей синонимических замен является уточнение мыслей, но использование синонимов не ограничива-

ется только этой задачей. Выяснение же целей правки в каждом конкретном случае осложняется тем, что «слова и выражения в художественном произведении обращены не только к действительности, но и к другим словам и выражениям, входящим в строй того же произведения. Правила и приемы их употребления и сочетания зависят от стиля произведения в целом. В контексте всего произведения слова и выражения, находясь в тесном взаимодействии, приобретают разнообразные дополнительные смысловые оттенки, воспринимаются в сложной и глубокой перспективе целого» [22].

Прежде всего выделяются синонимические замены, целью которых является смысловое уточнение, таких замен отмечено двенадцать.

1 ч. «И ее невестка, мать Нади, Нина Ивановна, белокурая, сильно затянутая, в *pinse-nez* и с бриллиантами *на всех пальцах*» (первонач.). — «И ее невестка ... *на каждом пальце*» (черн.). Определительное местоимение «каждый» имеет особое значение полноты охвата и разделительности («все по одному»), введено здесь с целью усиления значения полноты охвата.

Синонимические замены могут вносить конкретизацию: 3 ч. «*приготовляли спальню*» (первонач.). — «*обставляли спальню*» (черн.); могут вносить новый штрих в характеристику поведения героя: 3 ч. «гулял по этой своей квартире» (первонач.). — «*расхаживал ...*» (черн.). В окончательном тексте самодовольство, самолюбование героя подчеркнуты.

Посмотрим замены в тех случаях, когда описывается плач Нади: 4 ч. «Надя ... схватила себя крепко за волосы и вдруг *заплакала*» (черн.). — «Надя ... вдруг *зарыдала*» (бел.). Эта фраза из сцены объяснения с матерью, которая является кульминационной в рассказе; крайнее напряжение чувств выливается именно в громких рыданиях, а не в плаче. Ср. в 5 ч.: «Надя вдруг *зарыдала*» (первонач.). — «Надя теперь только *заплакала*» (черн.). Отъезд из дома для Нади — радость, а не горе, поэтому разлука с родными порождает грусть, а не страдание.

Другая группа синонимических замен связана прежде всего с изменением стилистической окраски слов, с внесением новой экспрессивной характеристики в текст.

3 ч. «О, матушка *Россия*» (черн.). — «О, матушка *Русь*» (бел.). Слово «Русь», более древнее по происхождению, сообщает тексту высокое звучание.

Такой же характер носит замена в 6 части рассказа: «Надя ... *уехала*» (бел.). — «Надя *покинула город*» (оконч.).

5 ч. «...едет на волю, едет учиться, а это все равно, что в *былое время* называлось уходить в казаки (первонач.). — «... едет ... что *когда-то, очень давно...*» (черн.). «В былое время» — ненужный здесь оборот книжно-поэтического стиля, поэтому заменой произведена своеобразная нейтрализация сообщения, причем плеонастический повтор («когда-то, очень давно») использован с целью усиления. Анализируя работу Чехова над другими рассказами, Т.И. Пабауская делает вывод, что «одной из характерных черт правки Чеховым рукописей и корректур является, как известно, устранение из текста элементов книжной лексики» [23].

См. пример внесения другой стилистической окраски: 6 ч. «...но все-таки прочла: вчера вечером в Саратове *умер Саша*» (первонач.). — «... и прочла. Так и есть — вчера вечером в Саратове от чахотки *скончался Александр Тимофеевич*» (черн.). — «... прочла. Сообщалось, что вчера утром в Саратове от чахотки *скончался Александр Тимофеевич*» (оконч.). «Скончался» — слово, принадлежащее официальному языку, оно и появляется в тексте телеграммы вместо нейтрального «умер», см. также замену имени на полное имя-отчество.

3. Правки, усиливающие специфику стиля рассказа.

3.1. Приемы создания образа «повествователя».

Сюда относятся изменения, свидетельствующие о стремлении писателя к изображению событий через восприятие «повествователя». Слово «повествователь» употреблено в данном случае с известной условностью. Дело в том, что повествователя номинально в рассказе нет, но почти все события рисуются через восприятие Нади. Это в какой-то степени объясняет ориентацию писателя на разговорную речь как основу языка рассказа.

Изображение событий через восприятие Нади осуществляется различными средствами: вводными словами, безличными кон-

струкциями, несобственно-прямой речью, хотя здесь, как и вообще в художественной литературе, «случаи явного обнаружения несобственно-прямой речи относительно редки. Зато в скрытой форме несобственно-прямая речь очень часто присутствует» [24]. Собственно авторское повествование занимает в рассказе очень мало места, к тому же границы между авторским повествованием и повествованием от лица Нади не всегда определены. Точнее сказать, Чехов и не старается разграничить эти речевые структуры, добиваясь «наложения голосов» [25], т. е. вплетения голоса героя в авторское повествование и далее слияния воедино мыслей и настроений героя и автора. В этом один из секретов емкости чеховской фразы.

В ходе работы над текстом Чехов увеличивает число речевых средств, создающих образ «повествователя».

а) Вводные слова: 6 ч. — нет фразы (2 кор.): «и потолки в комнатах, *казалось*, становились все *ниже и ниже*» (оконч.). Введением вводного слова и употреблением сравнительной степени прилагательного, которая указывает на относительность признака, повествование смещается в плоскость сознания героини.

2 ч. «Когда Надя проснулась, был второй час» (первонач.). — «Когда Надя проснулась, было, *должно быть*, часа два» (черн.).

4 ч. «Послышался стук, что-то упало на землю, и Наде показалось, что это сорвалась ставня» (бел.). — «Послышался стук, что-то упало на землю, *должно быть*, сорвалась ставня» (1 кор.).

б) Употребление конструкций с безличными глаголами. Использование в прозе Чехова безличных конструкций, создающих эффект повествования через восприятие героя, впервые отметил В.В. Гурбанов [26].

1 ч. «И так было ясно, что здесь под небом развернулась теперь своя весенняя жизнь» (первонач.). — «И так *хотелось думать*, что ...» (черн.). — «И так *хотелось думать* ... *Надя думала*: ей уже 23 года» (бел.). — «... и *хотелось думать* ... И *хотелось* почему-то *плакать*. Ей, Наде, было уже 23 года» (1 кор.).

6 ч. — нет фразы (2 кор.): «*Чувствовалась* пустота в комнате, и потолки *были низки*» (оконч.).

3.2. Приемы ритмизации фразы.

Одну из особенностей чеховской фразы исследователи определяют как музыкальность, ритмичность [27]. Ритмичность создается чаще всего за счет двучленного или трехчленного построения, т. е. употребления 2—3 однородных фонетических или синтаксических единиц или 2—3 пар или троек однородных единиц.

Функции бинарных конструкций или триад определены И.П. Бадаевой следующим образом:

«— усиление путем перечисления сходных синтаксических единиц, придающее повествованию яркость, содержательность и вместе с тем сжатость (лаконизм);

— создание напевности, музыкальности речи, сообщающее авторскому повествованию лирическую интонацию (лиризм)» [28].

Прежде всего необходимо отметить, что в литературе о языке и стиле Чехова не анализируются примеры фонетических двучленов, которые играют важную роль в создании музыкальности фразы. Рассмотрим некоторые подобные примеры.

1 ч. «Чувствовался *май, милый месяц май!*» (черн.). — «Чувствовался *май, милый май!*» (бел.).

Середина и конец фразы в исправленном виде более мелодичны, нет перебора в ритме, который возникает при сохранении слова «месяц» с начальным слогом «ме», содержащим гласный среднего подъема. Начальные слоги слов в окончательном тексте (ма-ми-ма) содержат гласные только верхнего подъема. Это обстоятельство, а также повтор слога «ма» (фонетический двучлен) и создает особый ритм фразы.

Еще один пример такого рода связан с изменением порядка слов: 2 ч. «И как бы там ни было, *моя милая*» (2 кор.). — «И как бы там ни было, *милая моя*» (оконч.). Транскрипция конца фразы: ла — майа — м'илайа; ла — м'илайа — майа.

Во второй корректуре повторение слога «ла» через три слога и звукосочетания «йа» через два слога. В окончательном тексте эти слоги повторяются соответственно через один и через один слог, т.е. окончательный вариант фразы в ритмическом отношении более организован.

При детальном анализе всего окончательного текста рассказа количество примеров можно увеличить.

Теперь рассмотрим примеры синтаксических двучленов, среди которых выделяются бессоюзные и союзные конструкции.

Бессоюзные двучлены из однородных определений:

1 ч. «... и *покойные* тени лежали на земле» (первонач.). — «...*темные, покойные* тени лежали на земле» (черн.);

6 ч. «... вид у него был *затасканный*» (первонач.). — «...вид у него был *нездоровый, замученный*» (оконч.);

6 ч. «... чего-то *нового, бодрого, веселого, светлого, полного смысла, ликующего*» (первонач.). — «... чего-то *молодого, свежего*» (чернов.).

В первом и втором случае добавление до двучлена, в третьем — возвращение к двучлену, заметим, что исследователи вообще не обнаруживают в чеховских текстах шестичленного комплекса, наибольшее количество членов конструкции — четыре (наблюдения Н.П. Бадаевой).

Бессоюзные двучлены из однородных сказуемых: 5 ч. «И все это уже не пугало, *не казалось ужасным*» (черн.). — «И все это уже не пугало, *не тяготило*» (белов.).

Это пример стремления к однотипности элементов двучлена: в черновой рукописи — простое глагольное и именное составное сказуемое, в окончательном тексте — два простых глагольных сказуемых.

6 ч. «... в городе все давно уже *отжило*» (первонач.). — «... в городе все давно уже *состарилось, отжило*» (черн.).

А вот пример двучлена, элементами которого являются предложения, однородные по наличию и способу выражения главных членов: 4 ч. «Это пройдет. Спи» (первонач.). — «Это пройдет. *Это бывает*» (черн.).

Союзные двучленные конструкции употребляются, как правило, с союзом «и» (всего три примера): 3 ч. «... но все же его *уговорили* остаться, и он дал слово, что уедет первого июля, не раньше» (черн.). — «... но *уговорили* остаться и *взяли* с него слово» (бел.); 6 ч. «... *прямо* смотреть в глаза» (черн.). — «... *прямо и смело* смотреть в глаза» (бел.).

Усиление в бинарных конструкциях достигается прежде всего за счет повторов одних и тех же синтаксических единиц и (не всегда) путем введения усилительных слов: 1 ч. «Слышно было, как где-то далеко, должно быть, за городом» (первонач.). — «Слышно было, как где-то далеко, *очень далеко*, должно быть, за городом» (черн.).

Приведем пример толкования этой правки Е.Н. Коншиной: «Особенно показательны здесь в музыкальном отношении переправленное «очень далеко» в «далеко, очень далеко» — параллель к нему «май, милый май». Эти повторения с добавлением эпитета или вообще в более распространенной форме имеют значение именно для мелодии» [29].

Такое объяснение правки мы считаем более приемлемым, чем догадку А. Белкина: «Повторениями слов («далеко, очень далеко», «май, милый май») Чехов вызывает у читателей ощущение перспективы, шири» [30].

3 ч. «О матушка Россия, много носишь ты нас ...» (черн.). — «О *матушка Русь!* О *матушка Русь!* Много носишь ...» (бел.);

5 ч. «... что она едет учиться» (первонач.). — «... что она *едет* на волю, *едет* учиться» (чернов.). В данных случаях усиление достигается повтором.

5 ч. «... все это уже не пугало ... было наивно, мелко и уходило назад» (первонач.). — «... все это ... уходило *все назад и назад*» (бел.).

Усиление здесь достигается за счет повтора и введения усилительного слова.

2 ч. «Только просвещенные и святые люди интересны и нужны» (черн.). — «Только просвещенные и святые люди интересны, *только* они и нужны» (оконч.).

Повторяется только усилительное слово, кроме того, в окончательном тексте употреблены два однородных предложения, т. е. количество однородных пар увеличено до трех.

Ритмичность чеховской фразы достигается и за счет использования трехчленных конструкций. Приведем один пример фонетического трехкратного повтора: 2 ч. «Капли росы, *точно* алмазы, засверкали» (первонач.). — «Капли росы, *как* алмазы, засверкали» (черн.).

В черновой рукописи фраза инструментована на согласные звуки «к» и «л» в большей степени, чем это было в первоначальной редакции, за счет троекратного повтора этих звуков возникает аллитерация. К сожалению, в этом случае мы не можем сослаться на какие-либо иные исследования звукописи у Чехова.

Нами отмечено пять случаев правки в направлении создания трехчленной конструкции из однородных определений. Вот два из них:

6 ч. «... что она здесь *чужая*» (первонач.). — «... что она здесь *одинокая, чужая*» (черн.-бел.); «... что она здесь *одинокая, чужая, ненужная*» (оконч.). Второй пример — с перестановкой слов в трехчлене: 2 ч. «А мысли были *ненужные, скучные*, все те же, что и в прошлую ночь» (первонач.). — «А мысли были *однообразные*, все те же, что и в прошлую ночь, *ненужные, неотвязчивые*» (черн.). — «А мысли были все те же, что и в прошлую ночь, *однообразные, ненужные, неотвязчивые*» (бел.).

Приведем еще примеры трехчленов:

6 ч. «... четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате» (черн.). — «... четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, *в подвальном этаже, в нечистоте*» (бел.). Это трехчлен из дополнений.

1 ч. «... слышно было, как там спешили, как хлопали двери на блоке» (бел.). — «... слышно было, как там спешили, как стучали ножами, *как хлопали дверью на блоке*» (1 кор.).

В этих двух случаях трехчленные конструкции выполняют прежде всего функцию усиления. Усиление возрастает при повторениях одних и тех же слов и словосочетаний.

1 ч. «Нина Ивановна, бабушка и вы не делаете решительно ничего. И жених Андрей Андреевич тоже ничего не делает» (бел.). — «Черт знает, никто *ничего не делает*. Милая мамаша целый день только гуляет, как герцогиня какая-нибудь, бабушка *тоже ничего не делает*, вы — *тоже*. И жених, Андрей Андреевич, *тоже ничего не делает*» (оконч.).

Сочетание «ничего не делает» и наречие «тоже» повторены трижды.

Двучленные и трехчленные конструкции, по наблюдениям Д.В. Иоаннисяна, располагаются в конце фразы [31]. Эти наблюдения подтверждаются воспоминаниями современника Чехова Г.И. Россолимо: «Меня особенно поразило то, что он подчас, заканчивая абзац или главу, особенно подбирал слова по их звучанию, ища как бы музыкального завершения предложения» [32]. По мнению А.П. Чудакова, трехчленными конструкциями, а именно «предложениями с тремя глаголами прошедшего времени, завершал свои рассказы Чехов» [33]. Действительно, такая концовка и в рассказе «Невеста»:

6 ч. «Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром уехала ... » (черн.). — «Она *пошла* к себе наверх укладываться, а на другой день утром *простилась* со своими и, живая, веселая, *покинула* город, как полагала навсегда» (2 кор.).

До сих пор не выяснен вопрос о том, каковы источники ритмичной прозы у Чехова, какие традиции он продолжает. На этот счет существуют три точки зрения:

А. Дермана — влияние церковных песнопений [34];

3.И. Герсона — усвоение традиций народно-поэтического творчества [35];

А.П. Громова — традиции Гоголя, Тургенева, Лескова [36].

Учитывая творческую биографию Чехова, обстоятельства его жизненного пути, можно говорить о влиянии всех трех факторов.

Рассмотрим три факта правок, причину которых можно объяснить только стремлением писателя к благозвучию:

1 ч. «... с колоннами и с садом» (2 кор.); «... с колоннами и садом» (оконч.).

В качестве комментария этой замены можно привести слова самого Чехова: «Я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их» [37].

Эвфоническая сторона (благозвучие) находит свое выражение и в таких правках: 5 ч. «Теперь уже *ей* было ясно» (первонач.). — «Теперь уже *для нее* было ясно» (черн.). Произнести раздельно два почти одинаковых по качеству звука «е» трудно, поэтому Чехов и производит замену. Кроме того, предложные конструкции, в которых отношения между словами выражаются не только окон-

чением, но и предлогом, имеют более конкретный характер, связь между словами уточняется [38].

6 ч. «... она ходила *по саду и улице*» (бел.). — «... она ходила *по саду и по улице*» (оконч.). В беловой рукописи рядом оказались три гласных звука «по са^ду и у^лице», что писателю показалось неблагозвучным.

Хотя практика публичного чтения автором первых вариантов своих произведений уже стала сокращаться к концу XIX в., но А.П. Чехов, судя по вниманию к звуковой стороне текста, это делал, если не для публики, то для себя.

3.2. Использование приема сопоставления как стилистического средства.

Прием сопоставления или смыслового контраста — это чаще всего сопоставление двух или более определений, не являющихся общезыковыми антонимами, но антонимичных в данном тексте. А. Дерман также считает, что приемом «взаимного контрастного оттенения Чехов, как и многие другие ... пользовался широко» [39]. Использование приема смыслового контраста в рассказе «Невеста» отмечено и Н.А. Рудяковым [40].

Наиболее простой пример такого сопоставления — употребление определений, усиливающих какое-то качество, признак:

2 ч. «И уж она, как ни думала, не могла сообразить, почему до сих пор она видела в этом плаче что-то особенное, необыкновенное» (1 кор.). — «И Надя, как ни думала ... видела в своей матери что-то *особенное, необыкновенное*, почему не замечала *простой, обыкновенной*, несчастной женщины» (оконч.).

В другом случае этот прием использован для создания психологического портрета героини: 4 ч. «Мать ... с волосами, заплетенными в одну косу, в одной сорочке подошла к кровати и села, в эту ночь казалось ...» (первонач.). — «Мать ... с волосами, заплетенными в одну косу, с *робкой* улыбкой в эту *бурную* ночь казалась ...» (черн.).

«Бурная ночь» — это понятие в рассказе имеет символическое звучание: это буря не только в природе, но и в душе Нади, и мать пугается той и другой бури, робеет.

В заключительной, шестой, части рассказа содержится развернутое сопоставление, последовательно сопоставляются описания внешности, настроения Нади и аналогичные описания Саши, родных, изображение провинциального городка.

Надя: 6 ч. «В мае после экзаменов она поехала домой» (1 кор.). — «В мае ... она, *здоровая, веселая*, поехала домой» (2 кор.); 6 ч. — нет фразы (1 кор.): «... простилась со своими и, *живая, веселая*, покинула город» (оконч.).

Саша, родные и провинциальный город: 6 ч. — фразы нет (1 кор.): «И почему-то показался он (Саша. — Г.С.) *серым и провинциальным*» (оконч.); 6 часть — фразы нет (бел.): «И все дома *точно пылью* покрыты» (1 кор.); 6 ч. «Нина Ивановна, постаревшая лет на 10» (черн.). — «Нина Ивановна тоже *сильно постарела и подурнела*, как-то осунулась вся» (бел.).

Контраст определений «свежий, здоровый, веселый» и «серый, старый, провинциальный» играют значительную роль в углублении идейного содержания рассказа.

В целом все правки можно классифицировать следующим образом:

1) правки, приводящие высказывание в соответствие с нормами литературного языка («нейтрализация повествования», выбор более употребительной формы);

2) стремление к точности и краткости изложения (краткость выражения, устранение тавтологии; точность словоупотребления; использование синонимов);

3) усиление стилистических качеств словообразовательных и грамматических средств языка (средства словообразования, синонимия форм глагола, использование междометий, союзов *и, а*);

4) методы чеховской стилистики (приемы ритмизации фразы, сопоставление, создание образа «повествователя»).

Примечания

1. Язык писателя — это сумма средств общенародного языка, использованных в произведении. Стиль писателя — система индивидуального использования исторически обусловленных средств и форм словесного выражения определенного содержания.

2. Опубликовано Е.Н. Коншиной: Биб-ка им. Ленина. Сб. 2. — М., 1928. — С. 27—61. В дальнейшем ссылки на *черновую* рукопись даются по этому изданию без специальных сносок.
3. Опубликовано Е.Н. Коншиной: Лит. наследство. — М., 1960. — Т. 68. — С. 87—92. Все ссылки даются по этому изданию.
4. Исправления в гранках 1 и 2 *корректур* использованы в IX томе ПСС А. П. Чехова. — М., 1947. Ссылки даются по этому изданию.
5. Рассказ был опубликован в «Журнале для всех». — 1903 — № 12.
6. Опубликовано в XII томе ПСС А.П. Чехова. — М., 1949.
7. См., например: *Львов*. Чехов — художник слова // А.П. Чехов, жизнь и сочинения. — М., 1907. — С. 217.
8. *Чудаков А.П.* Эволюция стиля Чехова. — М., 1966; *Кузнецова М.В.* Эволюция стиля повествовательных произведений А.П. Чехова. — М., 1975.
9. *Пабауская Т.И.* О работе А.П. Чехова над языком произведений в 90-х — начале 900-х годов (по рукописным и печатным вариантам) // Уч. зап. Латв. гос. ун-та. — 1956. — Т. 2. — Вып. I. — С. 235—261; она же. Работа А.П. Чехова над языком рассказа «Кривое зеркало» // Уч. зап. Латв. ун-та. — 1957. — Т. 16. — Вып. 2. — С. 171—192; она же. Работа А.П. Чехова над языком (три варианта рассказа «В море») // Уч. зап. Латв. гос. ун-та. — 1959. — Т. 30. — С. 187—198. Близка по приемам анализа к исследованию Т.И. Пабауской и еще одна давняя работа: *Кузнецова И.Ф.* Работа А.П. Чехова над языком рассказа «Невеста» // Тр. УДН. — 1968. — Т. 29. Языкозн. — Вып. 3. — С. 250—264.
10. *Стрелков Н.Г.* Работа Чехова над языком своих произведений // ВЯ. — 1955. — № 1. — С. 42—59.
11. *Аврух Д.Д.* Из наблюдений над глагольными лексико-синонимическими заменами в разных редакциях произведений А.П. Чехова // Доклады и сообщения Винницкого гос. пединститута. — 1959. — С. 35—39.
12. Русский язык и советское общество: проспект. Ин-т рус. языка АН СССР. — Алма-Ата, 1962. — С. 11, 64—65 и др.
13. *Шанский Н.М.* О языке и слоге рассказов А. П. Чехова // РЯШ. — 1954. — № 4. — С. 10.
14. ССРЯ. — 1951. — Т. 2. — С. 15. Здесь и далее так обозначается «Словарь совр. рус. лит. языка», изд. АН СССР: в 17 т. (1948—1963).
15. *Чернышев В.* Правильность и чистота русской речи. — СПб., 1911. — С. 65.
16. Там же. — С. 65.
17. Чехов в воспоминаниях современников. — М., 1954. — С. 122.
18. Там же. — С. 543.
19. *Шмелев Д.Н.* Слово и образ. — М., 1964. — С. 69.
20. *Щерба Л.В.* Избр. работы по русскому языку. — М., 1957. — С. 28.
21. *Шанский Н.М.* О языке и слоге рассказов А.П. Чехова // РЯШ. — 1954. — № 4. — С. 13.

22. Виноградов В.В. О языке художественной литературы. — М., 1959. — С. 233—234.
23. Пабауская Т.И. Работа А.П. Чехова над языком рассказа «Кривое зеркало» // Уч. зап. Латв. гос. ун-та. — 1957. — Т. 16. — С. 186.
24. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. — Л., 1959. — С. 288.
25. См. изложение этого приема в работах: Кожевникова Н.А. Об особенностях стиля Чехова // Вестник МГУ. Филология и журналистика. — 1963. — № 2. — С. 60; Усманов А.Д. Из наблюдений над стилем позднего Чехова // Вестник МГУ. — 1966. — № 2. — С. 96—98.
26. Гурбанов В.В. О стиле А. П. Чехова // Лит. учеба. — 1940. — № 2. — С. 38.
27. Дерман А. Творческий портрет Чехова. — Л., 1929; Гурбанов В.В. О синтаксисе прозы А.П. Чехова // РЯШ. — 1941. — № 2. — С. 36—40; Мышковская Л. Художественное мастерство Чехова // Октябрь. — 1953. — № 2. — С. 153—165; Шанский Н.М. О языке и слоге рассказов Чехова // РЯШ. — 1954. — № 4. — С. 9—15; Чудаков А. Стиль и язык рассказа Чехова «Ионыч» // РЯШ. — 1959. — № 1. — С. 64—69; Бадаева Н.П. Синтаксические приемы ритмизации авторской речи в рассказах Чехова // А.П. Чехов — великий художник слова. — Ростов-на-Дону, 1960. — С. 25—58.
28. Бадаева Н.П. Указ. статья. — С. 58.
29. Коншина Е.Н. Из литературного архива А.П. Чехова // Сборник 2. Публ. б-ки им. В.И. Ленина. — М., 1929. — С. 29.
30. Белкин А. Художественное мастерство Чехова-новелиста // Мастерство русских классиков. — М., 1959. — С. 211.
31. Иоаннисян Д.В. Об интонационном своеобразии лирической прозы А.П. Чехова 90—900 гг. // Уч. зап. Азер. пед. ин-та. — Баку, 1953. — Вып. 2. — С. 101.
32. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1950. — С. 664.
33. Чудаков А.П. Неизвестные произведения раннего Чехова // ВЛ. — 1967. — № 1. — С. 167.
34. Дерман А. О мастерстве Чехова. — М., 1959. — С. 114—115, 122—123.
35. Герсон В.И. Композиция и стиль повествовательных произведений А.П. Чехова // Творчество Чехова. — М., 1956. — С. 130.
36. Громов А.П. В творческой лаборатории Чехова. — Ростов-на-Дону, 1963. — С. 67.
37. Чехов в воспоминаниях современников. — М., 1960. — С. 463.
38. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. — М., 1965. — С. 257.
39. Дерман А. О мастерстве Чехова. — М., 1959. — С. 113.
40. Рудяков Н.Н. О краткости чеховских рассказов // РЯШ. — 1966. — № 3. — С. 27—33.

**В.А. Гиляровский как знаток русской речи
(рефлексия писателя на речевые
феномены своего времени)**

Отношение общества к речевой ситуации эпохи, к проблемам публичного общения и художественной практики на протяжении XIX в. эволюционировало. Острые дискуссии на рубеже XVIII — XIX вв. и в первой четверти XIX в. были обусловлены процессами подъема национального самосознания, борьбой новой либеральной идеологии с традиционным православным мировоззрением, возросшей значимостью художественной литературы как лаборатории для выработки норм национального выражения. Каждый писатель стремился высказаться по вопросам языковой ситуации. В начале XIX в. было высказано немало смелых идей и столь же энергичных откликов пуристического содержания (дискуссии «шишковистов» и «карамзинистов», выступления «новых архаистов» и т.д.). На 30–50-е гг. XIX в. приходится период некоторой стабилизации литературной нормы, закрепления норм и правил, освященных авторитетом крупных писателей. Пореформенная Россия пережила новый период демократизации речи, увлечения диалектными и профессиональными речениями. Неслучайно лексикографические опыты этого времени — это не нормативные словари и справочники, а сокровищницы нелитературных языковых средств. В художественных текстах, в активно развивающейся публицистике идет освоение нового материала, извлекаемого из живой речи простолюдинов: крестьян и городских ремесленников. Меняются типы и формы оценки профессионалами новых речевых феноменов.

Рассмотрим один из вариантов рефлексии писателя на речевые новации и отклонения от литературной нормы эпохи на примере творчества Владимира Алексеевича Гиляровского (26.11.1855, д. Горка Сямской вол. Вологодского у. Вологодской губ.) — 1.10.1935, г. Москва).

«С гордостью почти полвека носил я звание репортера, — признавался он. — Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь» [1: 2, 6]. Он практиковался и в других сферах: был бурлаком,

актером театра и циркачом, табунщиком, спортсменом, пожарным, военным, рабочим на белильном заводе [2; 3]. Коннозаводчики и охотники ценили его как профессионала в их деле, издатели и шулера считали его знатоком их профессиональных секретов. Он интересовался языком волжских речников, освоил жаргон извозчиков и говор жуликов с Хитровки, составил первую типологию московских нищих, помнил множество казачьих выражений, при случае мог блеснуть знанием вологодского говора или языка старообрядцев. С представителем каждой профессии он говорил на свойственном ему языке, любой социальный тип доверялся ему как близкому человеку, потому что в каждом конкретном случае В.А. Гиляровский находил самые подходящие слова и выражения.

В его творчестве сказались и традиции «физиологического очерка», и народническое стремление познать жизнь, быт и чаяния простого люда [4]. Произведения писателя переполнены яркими и образными оборотами, точными комментариями по поводу происхождения отдельных слов, толкованием их значений, указанием на сферу их употребления. На склоне лет своих он помнил «завет отца, у которого была любимая пословица: «Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рышет» [1: 1, 227], т. е. внимание к речи внушалось ему с детства.

В юности он погрузился в среду «трущобных людей» и начал постигать *речь людей «дна», криминальный жаргон* второй половины XIX в.. Самым выразительным фрагментом этого лексикона были наименования представителей правоохранительной службы и названия процессов и явлений, отражающих преступную деятельность героев городских трущоб: босяков, жуликов, грабителей и разбойников. См. примеры из рассказа «Человек и собака»: «как раз “к дяде” (в тюрьму. — Прим. В.А. Гиляровского) угодишь» [1: 1, 17]; «“Фараон” (городовой. — Прим. В.Г.) триклятуший, и побалакать не даст, — того и гляди “под шары” (в часть. — Прим. В.Г.) угодишь, а там и “к дяде”!» [1: 1, 20]; «... если пьмают, то “за бугры, значит жигана водить”» (в Сибирь. — Прим. В.Г.) [1: 1, 21]. Подобные факты речевой экзотики писатель старался выделить графически (кавычки или курсив) и в примечаниях пояснял значение, но в отличие от писателей первой половины

ХІХ в. не давал подобным фактам ни социолінгвістической, ни літературно-эстетической оценки.

Писатель классифицирует типы нищих и жуликов, опираясь на их собственную терминологию: «между ними сновали “мартышки” и “стрелки”». Под последним названием известны нищие, а “мартышками” зовут барышников. Эти — грабители бедняк-хитровака, обучающие, по местному выражению, «из сапог в лапти» ... меняют лучшее платье на худшее или «дают сменку до седьмого колена» [1: 1, 51], покупают одежду «на выжигу» [1: 1, 109]. Кстати, выражение *обуть* (*переобуть*) *кого из сапог в лапти* в значении «обмануть и поставить еще в худшее положение, чем был» было зафиксировано еще В.И. Далем [6: 2, 627]. Слова *обуть* — *обувать* в «криминальном» значении — «ловко провести, обмануть; ограбить» стали широко употребляться в русской речи на рубеже XX — XXI вв. [7: 389]. Бабы — по-здешнему «тетки» [1: 1, 90], «коты» [1: 1, 91] — возлюбленные проститутки (прим. наше), «коты» с «марухами» [1: 3, 35], «маруха» — возлюбленная вора; «марухи замарьяживали (заманивали. — Г.С.) пьяных» [1: 3, 97], ср. у Даля: *замарьяжиться*, шуточ. Быть в сожительстве без брака [6: 1, 600]; «зеленые ноги» (беглый с каторги. — Прим. В.Г.) [1: 1, 91]; ср: «пунштик», любимый напиток «зеленых ног» или «боддох», как здесь зовут обратников из Сибири и беглых из тюрем» [1: 3, 159] — вот типы этого общества. «Их звали «раками», потому что они голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили» [1: 3, 36]. О «раках» есть дополнение в рассказе «Под Китайской стеной»: «Целые квартиры заняли портные особой специальности — «раки»... «Раками» их звали потому, что они вечно, «как раки на мели», сидели безвыездно в своих норах, прожившиеся до последней рубашки» [1: 3, 81]. А вот другой ряд названий, относящихся к понятию «человек без определенного места жительства и без постоянной работы»: «И я, действительно, стал зимогором. Так в Ярославле и вообще в верхневолжских городах зовут тех, кого в Москве именуют хитровцами, в Самаре — горчичниками. в Саратове — галаховцами, а в Харькове — раклами, а всюду — “золотая рота”» [1: 1, 221]; «Что такое зимогоры? — Самое слово показывает: зимой горюют. И действительно,

летом работы для нас вдоволь, а зимой или на белильный завод идти себя отравлять, или сидеть в трактире впроголодь» [1: 2, 319].

Классификация типов преступного мира приводится в рассказе «Хитровка», используем пояснения самого автора: нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты; «огольцы» (подростки, которые налетали на жертву толпой), «поездушники» (выхватывали вещи у прохожих, находясь сами на проезжающих повозках); «фортачи» (воровали вещи из квартир, забираясь через оконные форточки), «ширмачи» (карманные вору); «деловые ребята» (разбойники; ср. их другое описание: «Их работа пахнет кровью. В старину их называли «иванами», а впоследствии «деловыми ребятами» [1: 3, 77]; «портяночники» (воры, крадущие мелкие малоценные вещи: срывали шапки с прохожих, отбирали у нищих суму с куском хлеба); «странники» (монахи небывалых монастырей); бабы «с ручкой» (бабы, выпрашивающие подаяние, с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают) [1: 3, 41–44].

Этапы жульничества и действия преступников имели свои названия, см. диалог ширмошников — карманных воров из рассказа «В глухую»: — Работали вместе, и халтура (барыш. — Прим. В.Г.) пополам. — Оно и пополам; ты затыривал (помогал. — В.Г.; добавим: прятал. — Г.С.) — я — по ширмохе (шарил по карману. — Прим. Г.С.), тебе — двадцать плиток (рублей. — Прим. В.Г.), а мне собака (часы. — В.Г.)... — Соловей-то (золотые часы. — Прим. В.Г.) полста ходить, небось. ... коньки (сапоги. — Прим. В.Г.) вот купил, чепчик. Ни финажки (кредитки. — Прим. В.Г.) в кармане... Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз! — Не лягаш ли? (сыпчик. — Прим. В.Г.)... просто стрюк шатаный (загулявший барин. — Прим. В.Г.)... Па-алковница, что, кредитного (возлюбленного. — Прим. В.Г.), что ли, привела? [1: 1, 82–83]; ср. похожее описание с употреблением иных терминов в рассказе «Кружка с орлом» [1: 3, 104]: *слам* — воровская добыча, *затырка* — пособник вора, которому незаметно передается украденная вещь, *по ширмохе* — вор, лазящий по карманам, *бака* — дорогие часы, возможно, с анкерным механизмом). Продолжает это описание рассказ «Под Китайской стеной»: «...в секретных каморках «тырбанили

слам» — делили добычу и тут же сбывали ее» [1: 3, 80]. В рассказе «Штурман дальнего плавания» описаны еще два типа жуликов: «был «убегалой», то есть ему передавали кошелек, а он убегал»; «Стал нищенствовать по ночам у ресторанов «в розувку» — бегаёт босой по снегу, а за углом у товарища валенки» [1: 3, 50]. Нравы Хитрова рынка отражает родившееся здесь сочетание *надеть чугунную шляпу* и *вязка*: «... дрянь в такую цену вгонят, что навсегда у всякого отобьют охоту торговаться. Это на их жаргоне называлось: «надеть чугунную шляпу»» [1: 3, 364]; «вязка»: Это — негласное, существовавшее все-таки с ведома полиции, но без официального разрешения, общество маклаков, являвшихся на аукцион и сбывавших цены, чтобы купить даром ценные вещи» [1: 3, 367].

У Гиляровского зафиксировано народное метафорическое название трактира: «Иван Елкин! Так звали в те времена народный клуб, убежище холодных и голодных — кабак. В деревнях никогда не вешали глупых вывесок с казенно-канцелярским названием «питейный дом», а просто ставили елку над крыльцом» [1: 1, 227]. Еще одно название «пищевого» заведения зафиксировано в очерках «Атаман Буря и Пиковая дама», «Чрево Москвы»: «пырка»... — так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки» [1: 2, 231]; «пырки»: «Так назывались харчевни, где подавались: за три копейки — чашка щей из серой капусты, без мяса; за пятак — лапша зелено-серая от «подонья» из-под льняного или конопляного масла, жареная или тушеная картошка» [1: 3, 181].

Богато оснащены профессиональной лексикой «*бурлацкие*» произведения В.А. Гиляровского. Этот мир он постигал с лямкой на плече, в одном строю со своими героями. *Шишка, подшищеный, гусак* — это названия бурлаков по месту в ватге [1: 1, 174]. *Суводь* — «порыв встречного ветра» (так пояснил этот термин сам писатель: [1: 1, 175]. А вот описание бурлацкой трапезы: «Сперва хлебали с хлебом «юшку», то есть жидкий навар из пшена с «поденьем», льняным черным маслом, а потом густую пшеничную «ройку» с ним же» [1: 1, 176]. Близка к бурлацкой терминология *пристанских грузчиков*. Здесь тоже на первом месте по значимости названия лиц по месту в технологической

цепочке разгрузки судна или погрузки на него: «В артели грузчиков главной силой считались «батыри»; их обязанность была выносить с судна уже готовые кули и мешки на берег ... батыри, конечно, получают больше, а засыпка (хлеб в кули насыпает. — Прим. В.Г.) и выставка (устанавливает кули, чтоб батырю брать удобно. — Прим. В.Г.) у которых работа легкая, — меньше» [1: 1, 185]. Заметил бытописатель и *особенности речи волжских речников*: о пароходах на Волге никто никогда не говорил: «плывет», «едет», «идет», а всегда — «бежит» [1: 3, 522]. Соответственно о почтовых пароходах говорили: «Почта пришла... Почта отходит в семь утра» [1: 3, 523]. Тогда билеты не покупали, а «выправляли» [Там же]. Кстати, замечает Гиляровский, «паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу — надо было хлопотать, тратиться, чтобы его «выправить» [Там же].

Писатель сохранил для нас коллекцию редких *названий транспортных средств* конца XIX в.: ... «калибер», экипаж, напоминающий гитару, лежащую на четырех колесах [1: 1, 214], ср. более пространное описание экипажа в сравнении с названиями других повозок: « — Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать... — На чем? — спрашиваю. — На гитаре? — Ну да, на колибере... вон на таком, гляди». Из переулка поворачивал на такой же, как наша, косматой лошаденке странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди — сиденье для кучера. На этой «гитаре» ехали купчиха... лицом и ногами в левую сторону и чиновник... повернутый весь в правую сторону... Так я в первый день увидел колибер, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких, полукругом, рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся пролетками» [1: 3, 16]. Экзотическое название *эгоистка* тоже привлекло внимание исследователя кучерской речи: «... на рысаке важно ехал какой-то чиновный франт... едва помещая свое солидное тело на узенькой пролетке, которую тоже называли эгоисткой» [1: 3, 19]. А вот наблюдение писателя за тонкостями извозчичьего речевого этикета: «Извозчики... набрасывались на прохожих с предложением услуг... встречая каждого, судя

по одежде, — кого «ваше степенство», кого «ваше здоровье», кого «ваше благородие». а кого «васьсиясь» (ваше сиятельство. — Прим. В.Г.) [1: 3, 18]. Сами же извозчики делились на несколько разрядов: «...левая (сторона. — Г.С.) была занята лихачами и парными «голубчиками»... «Ваньки», желтоглазые погонялки — эти извозчики низших классов, а также кашники, приезжавшие в столицу только на зиму, платили «халтуру» полиции» [1: 3, 119].

В *интеллигентской среде* возникли выражения, впервые отмеченные именно Гиляровским: «Легче других выбивались на дорожку, как тогда говорили, “люди в крахмальных воротничках”» [1: 3, 150]. «Для поступления в действительные члены (литературно-художественного кружка. — Г.С.) явился новый термин: «общественный деятель». Это было очень почтенно и модно и даже иногда заменяло все» [1: 1, 240]. Последнее замечание относится к 1899 г. и может быть признано датой вхождения фразеологизма в русскую речь.

Карточная игра в русском быту в XIX в. была явлением повсеместным. В московских трущобах играли в банк: «— Транспарт с кушем! — слышалось между играющими. — Семитка око... — Имею... На пере-пе... — Угол от гривны!» [1: 1, 82]. В карточных (особое помещение в трактире) тоже «играли в карты, в «банковку» [1: 1, 222]. *Банковка* описана в главе «Турецкая война» следующим образом: «Игра велась в самую первобытную, трущобную азартную игру — банковку, состоящую в том, что банкомет раскладывает колоду на три кучки. Понтирующие ставят, каждый на свою кучку, деньги, и получает выигрыш тот, у кого нижняя карта открывается крупнее» [1: 1, 294]. Со сторожами в ярославской военной прогимназии Гиляровский по вечерам играл в «свои козыри» в «носки» и в «козла» [1: 1, 226]. На именинах чиновника развлекаются игрой в винт и в стуколку: «винтили» и «стучали» [1: 1, 103]. А вот игры, предпочитаемые шулерами: в «черную и красную» или «три листа» [1: 1, 456]. Описание азартной игры приводит Гиляровский в рассказе «Охотничий клуб», отметим здесь столы «рублевые» и «золотые», «сторублевые» столы для «железки» [1: 3, 251]. Из шулерской практики извлек писатель слово *мельница*: «У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких за-

ведениях сокровенные комнаты, «мельницы»... предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников» [1: 3, 97]. В среде картежников появилось и слово *объегорить*: «Егор Быстров, игрок-профессионал, кого уютно умел обыграть и надуть; с него и пошел глагол «объегорить» [1: 3, 373].

Получила распространение в то время в трактирах *игра на бильярде*: «игра на билиарде в так называемую “фортунку”, впоследствии запрещенную. Фортунка состояла из 25 клеточек в ящичке, который становился на билиард, и игравший маленьким костяным шариком должен был попасть в “старшую” клетку» [1: 1, 221]. Вот тип посетителей бильярдных: «...сел между довольно-таки подозрительными завсегдатаями, «припевающими», как зовут их игроки» [1: 1, 222]. Рассказ «Последний удар (Очерк из жизни билиардных)» содержит образцы жаргона бильярдистов: маркер, луза, кий, подрезать красненького, делать трудный шар [1: 1, 98]. См. еще: скиковать «сорвать удар, когда кий проскальзывает по шару» [1: 3, 556 — «Ученик Расплюева»].

Особенности речи жителей в отдельных русских городах или регионах также зафиксированы писателем. Отмечено в произведениях Гиляровского много типичных московских слов. Например: «Викторками» и «Малашками» называли издавна фальшивые документы: паспорта фальшивые делал когда-то какой Викторка, и свидетельства о сгоревших домах мастерил с печатями Малашкин, волостной писарь [1: 2, 125]. По поводу двух слов, родившихся на московских рынках, писатель публикует следующий фрагмент: «... толкучка и развал. Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит. Или развал: развалият нескончаемыми рядами на рогожах немудрящий товар и торгуют» [1: 3, 71]. В Москве зафиксирован фразеологизм *лить колокол*: «Колокол льют! Шушукуются на Сухаревке — и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся неясные рассказы и вранье» [1: 3, 71]. А вот девиз Сухаревки — символ мелкой торговли: «купил на грош пятаков» [1: 3, 71]. Только в Москве знали слово «шланбой»: «На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку».

Форточка эта называлась «шланбой». Таких «шланбоев» в Москве было много» [1: 3, 116]. Шланбоями пользовались лица разных сословий, но состоятельные могли использовать иное средство: «гости на лихачах уносились в загородные рестораны «взять воздуха» после пира» [1: 3, 121]. Наконец, в Москве было создано название салата — оливье: «обеда готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им «салатом Оливье», без которого обед не в обед и тайну которого не открывал» [1: 3, 163].

В Пензе были обнаружены два редких слова: «С вокзала я приехал на «удобке». Это специально пензенский экипаж вроде извозчицкой пролетки без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого» [1: 1, 311]; «Углевка» завода Э.Ф. Мейерхольд. Пенза». Ах, и водка была хороша! Такой, как «Углевка», никогда я нигде не пил — ни у Смирнова Петра, ни у вдовы Поповой, хотя ее «вдовья слеза», как Москва называла эту водку, была лучше «смирновской» [1: 3, 315]. «Вдовья слеза» — народный эвфемизм, см. другой пример: четвертная бутылка водки, «слезы вдовы Поповой», по-тогдашнему [1: 2, 204].

Особо выделяет писатель *казацкую речь*, фиксируя табу в речевом этикете: «Ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, — это считается неприличным, допросом каким-то, — а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» — прямо считается оскорблением. «Куда идешь?» — спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака. И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут: «Закудыкал, на свою бы тебе голову!..». Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается любопытствовать: «Где идете (или едете)?»» [1: 2, 53]. Казачий этикет касается и личных имен: «У казаков, с издревле и до последнего времени говорится не Степан Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее... По-староказацки Стенька, Фролка — почетнее. Такое прозвище заслужить надо» [1: 2, 53].

Гиляровский одним из первых обратил внимание на профессиональные диалекты и жаргоны, на сословные различия в речи, стал изучать язык городской улицы. Он опубликовал результаты своих наблюдений за особенностями речевого этикета разных

корпоративных сообществ. Коллекция зафиксированных и объясненных им слов и фразеологизмов могла бы составить большой словарь живой русской речи рубежа XIX — XX вв. Криминальное арго у него представлено более полно, чем в словаре В.И. Даля. К сожалению, отсутствие научно изданных, обеспеченных комментариями его сочинений не позволило филологам ранее заинтересоваться лексикологическими наблюдениями «короля репортеров», признанного историка и бытописателя Москвы и русской старины.

Примечания

1. Цитаты из произведений Гиляровского приводятся по изданию: *Гиляровский В.А. Избранное* в трех томах. — М., 1961. Вторая цифра — номер тома, далее указывается порядковый номер страницы.
2. *Морозов Н.* Сорок лет с Гиляровским. — М., 1963; *Лобанов В.* Столешники дяди Гиляя. — М., 1972.
3. *Киселева Е.* Гиляровский на Волге. — Ярославль, 1962; *Киселева Е.* Рассказы о дяде Гиляе. — М., 1983.
4. *Есин Б.И.* Репортажи В.А. Гиляровского. — М., 1985.
5. *Гура Виктор.* Жизнь и книги дяди Гиляя. — Вологда, 1959. — С. 5—6; *Мясникова Л.Н.* В.А. Гиляровский. Документы о вологодском периоде жизни. — Вологда, 2005. — С. 12—15.
6. *Даль В.И.* Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. — М., 1978—1980.
7. *Химик В.В.* Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. — СПб., 2004.

Концепты Государственного гимна России

Обострение национального самосознания в эпоху, когда решается судьба России, вполне понятно: если нация теряет идеологические ориентиры, их убедительно компенсирует идея патриотизма. А.С. Пушкин содержание русского национального мироощущения определил так:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Любовь к Родине — главная составляющая духовности, и эта любовь начинается с тщательного изучения истории — с «любви к отеческим гробам, к родному пепелищу». При этом история не понимается как узконационалистическое явление. Национальное для русского всегда близко, значимо и дорого не потому, что оно светло и прекрасно, а именно потому, что — родное, но вместе с тем и общемировое. История Отечества — великий учитель, вспомним еще раз великого поэта: «Уважение к минувшему — вот отличительная черта, отличающая образованность от дикости»; «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие»; «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, как нам Бог ее дал».

В свете этих слов рассмотрим смысловое наполнение концептов Государственного гимна нашего Отечества и речевые средства их выражения.

Гимн как жанр прошел путь развития от культовой торжественной песни до светского государственного символа. Официальный государственный гимн — это особое явление. Цель национального гимна — словесное и музыкальное выражение социально-философской истины, актуальной для данной страны, прославление Родины, ее истории, народа, доминантных для данной нации ценностей.

Главная языковая особенность национального гимна состоит в том, что в нем представлены ключевые слова, характеризующие государственность данной страны, иначе — концептуально значимые элементы, организующие смысл и структуру текста. Для каждого гимна, например, обязательны концепты: «родина», «народ», «враг», «свобода» и др. Концепт — это смысловая единица, которая в одном и том же тексте может повторяться неоднократно с помощью разных средств выражения: словом, словосочетанием, фразеологизмом, фразой. В гимнах часто наблюдаются оппозиции концептов: «добро» — «зло», «хаос» — «порядок», «Отечество» — «враги» и т. д.

Важная особенность Государственного гимна — его песенное исполнение; сфера его существования — устная речь, поэтому

обязательные качества текста гимна: правильность идей (положения, не требующие доказательств), краткость, доступность, точность высказывания, богатство словаря и интонаций. Устное слово вообще ориентировано на эмоциональное отношение говорящего к предмету описания, а в гимне эмоции реализуются в форме отношения народа к своей стране и к себе самому. Национальный гимн совмещает в себе особенность художественного стиля (образность), черты официально-деловой речи (документ нации, выражающий ее отношение к себе и к остальному миру), признаки публицистики (эмоционально-экспрессивные средства, элементы проповеди, назидательность, восклицания, повторы). Однако национальный гимн заметно тяготеет именно к публицистическому стилю, на что указывает торжественность, экспрессивность его исполнения.

Чтобы объективно оценить идейные и текстовые качества современного гимна России, мы учли некоторые предыдущие тексты: 1) «Боже, царя храни!», или «Молитва русского народа» — первый вариант из шести куплетов (1816—1833), 2) «Боже, царя храни!» — второй вариант из четырех куплетов (1833—1917), 3) «Интернационал» (1917—1943), 4) «Гимн Советского Союза» (1944—1990).

Начнем с воспоминаний о Гимне Советского Союза. По форме Гимн Советского Союза — торжественная песнь, славословие, ср. характерные восклицания: *да здравствует, славься*. То, что отрицалось в предыдущем гимне, «Интернационале» (*ни бог, ни царь и ни герой*), утверждается в Гимне Советского Союза: это культ личности и культ партии. Содержание гимна движется от прошлого к будущему: первые два куплета — о том, кто «вдохновил на подвиги» во имя укрепления Советского Союза; последний, третий, куплет — взгляд в будущее:

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны.

Припев утверждает прочность союза народов, надежность партийных идей и ориентацию на коммунизм:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

В тексте актуализированы концепты «свобода» и «бессмертие, вечность». См. примеры с концептуальным словом *свобода*: *солнце свободы, союз нерушимый республик свободных, Отечество наше свободное*. Приведем примеры с концептом «бессмертие, вечность»: *сплотила навеки, в победе бессмертных идей коммунизма, мы будем всегда беззаветно верны, союз нерушимый*. Повторяется использованная уже в «Интернационале» оппозиция «гроза — солнце»:

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил.

Гимн Советского Союза менее агрессивен по настроению, чем «Интернационал». В нем больше торжественности благодаря таким лексемам, как *да здравствует, вдохновил, озарил*.

Развитие истории в «Гимне Советского Союза» идет по однонаправленной прямой: прошлое — труд и подвиги под руководством партии Ленина, настоящее — союз нерушимый республик свободных, будущее — победа идей коммунизма.

Концептуальным словом для выражения понятия «Родина» является не слово *Родина*, а слово *союз*. Смысл этого концепта раскрывается в таких словосочетаниях: *союз нерушимый* — идея незыблемости, вечности; *союз ... республик свободных и созданный волей народов* — идея свободного выбора народами принципа государственного устройства, но по контексту *воля народа* соотносится с *силой народа* (*партия Ленина — сила народная*), поэтому воля народа, судя по тексту гимна, зависит от партии; *союз единый, могучий* — идея единого порядка и силы; союз советский — характеристика государственного строя; *великая Русь + республики* — характеристика структуры государственного союза. Концептуальные возможности слова союз

подкрепляются выразительными возможностями слов *Отечество* (оно *свободное, наше, дружбы народов надежный оплот* — здесь *оплот* в значении «союз, единство частей, входящих в состав чего-либо»), *Отчизна* (*славная* — «обладающая славой, авторитетом»).

Теперь обратимся к современному гимну. «Гимн России» принят 30 декабря 2000 г. (музыка А. Александрова, слова С. Михалкова). Он имеет классическую для современных гимнов структуру: три куплета и троекратный повтор припева.

В отличие от предыдущих гимнов этот гимн менее помпезен, по форме приближается к лирической песне о Родине, ведущим чувством в нем является чувство гордости за Отечество, вера в божественное покровительство. Гимн не избежал штампов, сохранение прежней музыки и частично старого текста привели к не очень удачным трансформациям текста.

Обратимся к первому куплету гимна:

Россия — священная наша держава!
Россия — любимая наша страна!
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена.

В первом куплете народ признается в любви к своей стране — России. Россия — концептуальное слово первого куплета. В качественных характеристиках России утверждается ее священность, мощь и величие. Россия — «наша», т. е. ничья больше, местоимение *наша* повторяется дважды, что усиливает ассоциацию с оппозицией «свои — чужие», актуальной в тексте «Интернационала».

Россия — «священная держава»: высокое слово *держава* в значении «большая, мощная страна» вводит идею могущества, слово *священная* в значении «обладающая святостью, божественная, соответствующая религиозному идеалу» начинает идею Бога, развиваемую в следующем куплете.

Россия — «любимая страна»: прямым выражением чувства патриотизма усиливается лирическое начало (любовь без условий и без просьб).

Во второй части куплета:

Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена —

Россия становится пассивным собеседником, с которым беседует абстрагированный субъект речи — гражданин России. «Достояние» России — это вечные духовные ценности (воля и слава), которые следует сохранять. Слова могучая, великая содержат смысловой элемент «очень», который усиливает значение превосходства страны. Словосочетание на все времена утверждает идею вневременности, вечности; этим подчеркнуто, что благодаря наличию столь важного духовного опыта Россия преодолает испытания временем.

Второй куплет характеризует природу страны, утверждает ее уникальность и развивает мысль о божественном покровительстве нашей Родины:

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая!
Хранимая Богом родная земля.

В первых двух строках куплета описываются ландшафт, его разнообразие, протяженность территории, эти строчки содержат, казалось бы, констатацию известного. Две следующие строчки — смысловой и эмоциональный контрапункт данного куплета. Здесь даже концепт «Бог» занимает вроде бы второстепенное положение, подчинив себя концепту «Россия». Последняя фраза *Хранимая Богом родная страна* соотносится с названием двух первых по времени гимнов — гимнов монархических: «Боже, царя храни!». В этом куплете раскрывается смысл определения *священная* из первого куплета, т. е. *хранимая Богом*. Двойное повторение: *Одна ты на свете! Одна ты такая!* — свидетельствует о неповторимости страны в системе стран мира и уникальности ее самой по себе: ты — такая! В целом во второй строфе продолжается раскрытие концепта «Россия», но и делается сильный эмоциональный вывод — заключительное сочетание *родная земля*, т. е. «земля предков, родина».

Третий куплет Гимна России посвящен представлению о будущем:

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Кстати, в предыдущих гимнах концовка тоже обязательно неслала информацию о будущем, причем в непосредственной форме (ср. третий куплет из Гимна Советского Союза):

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны.
И красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Вспомним изображение будущего в «Интернационале»:

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей.
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.

В третьем куплете современного Гимна России снова повторяется концепт «родина» с помощью ключевого слова *Отчизна*, т. е. «земля отцов, предков». Но прежде всего здесь раскрываются концепты «свобода» и «время», связанные друг с другом. В отличие от двух предыдущих гимнов, в которых утверждалось одновекторное, единственно правильное движение в будущее как путь к коммунизму посредством боя или труда, здесь концепт «свобода» становится довлеющим благодаря наличию выбора для каждой личности:

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.

Да, слова *свобода* здесь нет, идею свободы выражает словосочетание *широкий простор*. Русское слово *простор* означает

«свободное, обширное пространство», этот смысл усилен определением *широкий*.

Последняя фраза гимна: *Так было, так есть и так будет всегда!* — утверждает идею вечности («всегда»), уже начатую в первом куплете. Но подчеркивается и поступательное движение истории с помощью временных форм глагола *быть*: *было, есть, будет*.

В целом движение концептуального содержания Гимна России осуществляется не за счет оппозиций, как было в гимнах советской эпохи («Интернационал»: «мы — они», «мир насилья — новый мир», «разрушим — построим», «гроза — солнце»; «Гимн Советского Союза»: «подчинение — свобода», «свет — тьма», «смерть — бессмертие»), а за счет последовательного раскрытия содержания основного концепта — «Россия».

Припев Гимна России частично дублирует припев предыдущего гимна. Было:

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Партия Ленина — сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведет!

Ср. нынешний припев:

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой.
Предками данная мудрость народная.
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Отечество теперь — «союз вековой», т. е. сложившийся издревле.

Текст «Гимна России» содержит мало глагольных форм, семантика действия в гимне менее актуальна, чем в «Интернационале» или в «Гимне СССР». Это создает иллюзию вневременности, абсолютности по отношению ко всему, что утверждается в гимне, потому гимн логически заканчивается энергичным рефреном: *Так было, так есть и так будет всегда*. Широкое понятие «жизнь»

(в данном случае — жизнь страны России) конкретизируется с помощью абстрактных существительных: *воля, слава* (ценности, приобретенные в прошлом), *сила, верность* (ценности, способствующие развитию), мечта (ценность, связанная с реализацией задуманного в будущем).

«Гимн России» является идейно нейтральным текстом, его задача — отражение современной действительности. Он не отрицает прошлого («предками данная мудрость народная»), хотя и намекает на сомнительность исторического опыта (вспомним библейское «во многой мудрости много печали»). Он не рвется к вершинам будущего, но рассматривает его как «простор для мечты и для жизни». Если в «Интернационале» главное — смысловые оппозиции, противопоставления, если в «Гимне Советского Союза» движение в будущее — основная идея текста, то в «Гимне России» воспеваются идея свободы и идея вечности для уникальной России.

В целом концептуальное содержание текста «Гимна России» учитывает все значимые для гражданина проблемы современной России:

- проблема патриотизма («Россия любимая»);
- проблема природных богатств;
- проблема уникальности страны как основа любви к ней («одна ты на свете»);
- проблема гражданской ответственности за судьбу Родины («Отчизна», «родная земля»);
- проблема веры («Россия священная», «хранимая Богом»).

Тексты национальных гимнов России — это цикл произведений, объединенных идеей прославления Родины. Они дают яркое представление о духовных ценностях Родины на различных исторических отрезках. Для гимна характерна смысловая многоплановость: стремление достоверно отразить действительность и вместе с тем выразить отношение к ней, поэтому можно говорить о внутреннем психологизме гимна. Гимн обращен к коллективному адресату — народу, союзу народов и наций. Обилие его идей, призывов, эмоций требует осмысленного толкования и разъяснения, особенно в беседах с юным населением нашей страны.